

Ретроспектива

**РЕВОЛЮЦИЯ, ЭМОЦИИ, ПОЛИТИКИ:
К ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЮ СОБЫТИЙ 1914–1917 гг.**

В.П. Булдаков

Институт российской истории РАН

Аннотация: Автор показывает, что начало Первой мировой войны вызвало в России поток неуправляемых эмоций, в значительной степени определивших лицо политики в годы революции. Это было связано не только с шоком населения от неожиданных событий, но главным образом со всеобщим разочарованием во власти, показавшей свою полную недееспособность. В этих условиях политики оказались заложниками людских страстей. Ситуация закономерно разрешилась победой большевиков, опиравшихся на неистовство толп с их эгалитаристскими представлениями о справедливости.

Ключевые слова: Россия, революция, Первая мировая война, эмоции, психология, психопатология, политика, большевизм.

*Памяти Сергея Алексеевича Королева
(1950–2015)*

Исторические представления в России поразительно этатизированы и политизированы. Сказывался остаточный «рационализм» эпохи Просвещения, помноженный, естественно, на наследие советской системы и злобу современного дня. Всякие иные — неполитические — метанарративы пробиваются с трудом. В особой степени это касается эмоционального дискурса критических событий истории. Советская система обескровила обществоведение. Началось это давно — даже ранее «борьбы с троцкизмом». В особой степени это сказалось на представлениях о революции.

В 1923 г. в Манифесте группы пролетарских писателей «Кузница» было заявлено: «... Художественное творчество — функция общественной идеологии, эмоциологии, психики вообще». Художник — это «медиум своего класса», а пролетарское искусство — это призма, где концентрируется лицо класса» [Литературные манифесты 1930: 163]. Предполагалось, что пролетарским авторам предстоит создать своего рода лабораторию «эмоциологии» рабочего класса. Вряд ли нужно пояснять, что за это дело брались люди, принадлежащие скорее к *воображаемому* пролетариату.

И хотя «организация коллективной психологии» в нэповские годы путём политического плаката [Полонский 1925: 8] и «пролетарской поэзии» [От символизма до «Октября» 1924] не

прекращалась, пылкие «эмоциологические» заявления смотрелись все более странно. Было очевидно, что не в меру аффектированные «пролетарские» авторы пытались преодолеть оживление «буржуазных» отношений с помощью выдыхающегося пафоса революции. В известном смысле это была попытка реанимировать страсти 1917 года, когда воображаемое заслонило реальность, создав особые вдохновляющие образы и символику. Дореволюционные пролетарские поэты утверждали, что интеллигенты не могут чувствовать так, как рабочий класс, а русскому пролетариату нужны писатели и мыслители пролетарского происхождения с пролетарским мироощущением [Steinberg 2002: 244, 279]. Эта установка частично возродилась во времена нэпа. Было очевидно, что фрустрационные психосоциальные процессы подавляют революционный накал страстей и потому эту тенденцию следовало, во что бы то ни стало, преодолеть.

Однако, несмотря на усилия былых революционных романтиков, на протяжении десятков лет академичного изучения русской революции ее пафос неуклонно выветривался, сохраняя свои позиции в основном в литературоведении. Со временем он приобрел в СССР вымученный, по преимуществу декоративный характер. Это отражало объективное состояние историографической мысли, в которой бывшее неистовство революции вытеснялось (сказывались боязнь подозрений в троцкизме) «объективной» статистикой, составленной по известной схеме: «экономика, социальные условия, классы, партии». При помощи привычных для эпохи застоя «валовых» показателей был выхолощен самый «дух» революции. Как следствие, сформировалось подозрение о наличии «спасительных» альтернатив «дурному» развитию событий 1917 г.

В свое время М. Фуко отмечал, что в философском дискурсе, который с помощью наивного позитивизма пытается указывать, где лежит истина, есть нечто смехотворное. Пор его мнению историю следовало бы освободить от бремени «метафизики», обратившись к тому, что заложено в природе человека — аффектам, инстинктам, морали, телесности [Фуко 1971: 74–97]. Увы, иные историки и социологи, словно увязли в исторических представлениях XIX в. Так, иллюстрируя «успехи» дореволюционной России методом номенклатурных отчётов «от съезда к съезду», пытаются убедить, что дореволюционная империя уверенно двигалась «от традиции к Модерну» — революции не должно было быть. На деле предреволюционная Россия *застряла* между инерцией традиции и модернистским порывом. И это было крайне болезненное, внутреннее противоречивое состояние. Увы, некоторые люди до сих пор склонны верить, что дорога в «светлое будущее» могла быть бесконфликтной.

Именно в советское время имплицитно были подготовлены условия для «оптимистичных» (*психологически* вполне понятных) заблуждений относительно того, что революции *могло и не быть*, не вмешайся в ход событий вездесущие «заговорщики». Символично, что это произошло через «позитивиста» П.Н. Милокова, попытавшегося отнести огрехи в своем историко-политическом раскладе на счёт злокозненности «тайных сил» в лице масонов [Яковлев 1974: 4–7]. Как известно, нечто подобное уже произошло после Великой французской революции [Cubitt 1993]. И в наше время подобные представления вновь, пусть в несколько модернизированной форме, насаждаются сверху [Никонов 2011] — возможно, из опасений нового пробуждения «опасных» для власти эмоций.

Между тем, о роли эмоций в поведении возмущённых толп со времён Гюстава Лебона писали многие. К изучению «страстей истории» в 1930-е гг. призывали и Люсьен Февр, и Норберт Элиас. В современной литературе высказывалась мысль, что для определенных периодов истории характерны «фобические сверхреакции» [Плампер 2010: 14]. Историкам следовало бы задаться вопросом: почему и как внутри таких устойчивых величин, как культура, хозяйство или ментальность «вдруг» происходит лавинообразный рост «малых возмуще-

ний», оборачивающийся тотальным хаосом, который словно пытается взломать генетический код системы [Булдаков 2001: 31–46].

Ответ, кажется, простым: хаос приходит изнутри, из душ маленьких людей, тихое существование которых в силу незаметных для них факторов делается невозможным. Но, похоже, предложения двинуться в этом познавательном направлении остаются втуне. Авторы по-прежнему предпочитают ориентироваться на *видимое*. Как результат, сферу социологически «невидимого» монополизирует конспирология с её старыми, как мир, заговорщическими фобиями.

Всякую революцию сопровождает особая психическая аура. Можно ли говорить о том, что в России она обладала заметными особенностями? С чем они были связаны и чем были обусловлены? Не пора ли приступить к воссозданию *психологического* портрета русской политики и российского политикума?

Новое столетие: страсти в Европе, отголоски в России

Всякое заявление о том, что российское социальное пространство отличалось особыми психогенными качествами, в частности повышенной эмоциональностью, может вызвать, по меньшей мере, недоверие. Однако весь европейский XX век ознаменовался прорывами и взрывами неадекватных эмоций, вызвавших серию малых и больших потрясений — покушений, войн, переворотов. Все это было незримо связано с духом внутренней агрессии, накопленным за десятилетия «мирной жизни» и не находящим выхода в повседневных практиках. К тому же, степень агрессивности социальной среды непосредственно связана с демографическими процессами: «омоложение» населения преумножает роль «социального негативизма». А. Блок символически обозначил этот феномен так: «Юность — это возмездие». Усиливалось действие ещё одного фактора: всякий демографический скачок деформирует привычное, относительно устойчивое социокультурное многообразие, пробуждая голос племени, расы, этноса. В общем растущая «энергия отрицания» не могла не соединиться с новым — навеванным восторженно воспринимаемым прогрессом — футуристическим мифом.

Человек склонен мистифицировать непонятное. Всякая революция порождает не только великие мифы, но и грандиозные заблуждения, пропитывающие со временем ее историографию. Причём ложные представления укореняются столь основательно, что человек, взявшийся опровергать их, серьёзно рискует [Billington 1997: 551]. «Генетический материал» русской революции запрятан в глубине веков, архетип взаимоотношений власти и народа складывался на протяжении столетий [Булдаков 2009]. На этой основе формировались и интеллигентские утопии, проникавшие в политическую культуру. Гипертрофирование «рационального» в сочетании с экспансией воображаемого приводило к тому, что знаменитые «сны Веры Павловны» воспринимались как нечто должное и желанное. А эмоциональный максимализм сделал возможным феномен Веры Засулич.

В свое время выдающийся философ Ф.А. Степун, писал: «...В том-то... и коренится трагедия истории, главная причина ее величественного самоистязания и ее метафизического безобразия, что образ будущего, иногда чаемый пророками и художниками, дольше всего остаётся сокрытым от его фактических творцов. Оптика революционной воли почти всегда мечтательна и одновременно рационалистична, то есть утопична. Строя планы своих действий, набрасывая и вычерчивая в сознании карты будущего, революционеры утописты невольно принимают картографические фантазии за живую картину будущего...» [Степун 1994: 291–292]. И, как показывает опыт, «дописывать» былые фантазии оказывается довольно просто. И, главное, получается «убедительно».

Как преодолеть эту тенденцию? Как соединить микроисторию с макроисторией ради выхода в *мета*историю, то есть добраться до *смысла* хаотичных нарративов?

В свое время я попытался выявить некоторые закономерности развёртывания системных кризисов в России, сопоставляя события Смутного времени, кризиса XIX – начала XX вв., революционных событий конца XX в. Получалось, что кризисы включали в себя ряд компонентов, определяющих тот или иной этап их развёртывания: этический, идеологический, политический, организационный, социальный, охлократический, наконец, рекреационный [Булдаков 2007: 76–114]. При этом *политическая* составляющая кризиса носила, по преимуществу, *имитационный* характер. Не похоже, что такое многим пришлось не по душе.

Воображение россиянина удивительным образом сочетается с некритичной абсолютизацией «политического» факта. Впрочем, всякое массовое сознание (подобно замкнутой камере) склонно ограничиваться миром симулякров. Так, сталинский «Краткий курс» представлял собой псевдо/политическую версию утверждения большевизма, одобренную инфернализацией его противников. Между тем, революционный процесс в России протекал на архаичной *дополитической* основе, что было связано с относительной неизменностью психоэмоциональных реакций *homo rossicus*'а на ситуацию *во власти*. Не случайно предложенная выше схема напоминает ленинскую хронологию революционного движения в России [Ленин Т. 21: 255–262]. В.И. Ленин, в духе революционизированного этоса Просвещения, исходил из идеи соединения социализма с массовым движением. Этого не произошло и не могло произойти: наукообразные утопии, вырабатываемые интеллигенцией, были слишком абстрактны для того, чтобы преодолеть инерционную архаику крестьянской ментальности. Люди Просвещения действительно «жили на поверхности жизни» [Доусон 2002: 270–271]. Будучи неспособны проникнуть в ее глубины, они могли лишь стимулировать ее агрессивную составляющую при известных *психоэмоциональных* обстоятельствах. Однако историю — особенно в России — проще истолковывать, исходя из принципа управляемости всеми видимыми и процессами *сверху*. В результате все «невидимое» позитивистами превращается в «непонятное», а непонятное — в конспирологическое.

Между тем Ленин только и делал, что искал главную «трещину» в здании ненавистного капитализма, чтобы решительно вбить в них клин революции. Характерно, что с началом Первой мировой войны он обратился к факторам глобального порядка. Война, ставшая своеобразным «самоубийством Европы», стала связываться им с крахом последней стадии капитализма — империализма. Теперь Ленин вдохновлялся не только 1-м томом «Капитала» с его учением о прибавочной стоимости (способном увлечь только людей наивных). Для него важна была не теория сама по себе, а то, кого, как и насколько она способна вдохновить. Возможность мировой революции стала обосновываться на основе отнюдь не подстрекательской книги Дж. Гобсона «Империализм», появившейся ещё в 1902 г. Примечательно, что английский автор настаивал, что его исследование «определённо относится к области социальной патологии, и потому в нем не делается никаких попыток скрыть злокачественность недуга» [Гобсон 2009: 17].

Вероятно, впечатление от нарисованной Гобсоном картины, «подтверждённой» ужасами Первой мировой войны, было столь велико, что Ленин окончательно уверовал в близость мировой революции. И, естественно, Россия, якобы прорвавшаяся вперёд по части концентрации финансового капитала, но, вместе с тем, опутанная пережитками докапиталистической эпохи, могла сыграть в этом роль застрельщика. Так впрочем, хотелось думать многим: в сущности, это была «нормальная» защитная психическая реакция против надвигавшегося тотального ужаса. Страхам противопоставлялась утопия; грозящая катастрофа приобретала «революционно-эсхатологический» характер.

Человечество по-прежнему готово было молиться «гению прогресса» (тому самому, который подвёл его к самоубийственной войне), причём былой идол приобретал глобалистские размеры. Между тем в Европе уже давно действовали малозаметные, но куда более многозначительные факторы *иного* порядка. Эпоха Просвещения перестроила психоэмоциональную картину мира. По мнению А. Панарина, она поначалу породила «фанатиков сциентизма, уверенных в своем праве исправлять и преобразовывать мир на разумных началах», затем — «скептиков и релятивистов», наконец — декадентов [Панарин 2004: 3]. Вероятно, в условиях естественной преемственности поколений так бы и случилось. Однако демографический бум, с одной стороны, образовательный прогресс — с другой, привели к тому, что к началу XX в. влияние «рационально» мыслящих «преобразователей мира» перевесило роль скептиков и, тем более, декадентов.

Мир стал слишком тесным, агрессивным и «быстрым» для того, чтобы дипломаты старой формации успевали договариваться между собой относительно поддержания привычной стабильности. Сыграл свою роль и фактор социализации науки: учёные впервые попытались применить свои *позитивистские* практики к общественно-политической жизни. Мир становился непредсказуемым, а миф наукообразным, приобретая заодно визуальную «убедительность». Не удивительно, что растущая часть молодёжной среды оказалась во власти воображаемого.

Нельзя забывать, что в XIX в. на войну смотрели не только как на нечто естественное, но и необходимое. Считалось, что «кровопускание» способно оживить дряхлеющий организм, предотвратить его «старение». «Война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задохались, сидя в немощи растления и духовной тесноте», — писал в свое время Ф.М. Достоевский. Он убеждал, что «НЕ ВСЕГДА ВОЙНА БИЧ, ИНОГДА И СПАСЕНИЕ» [Достоевский 1983: 95, 98]. Ещё более обнадёживающие надежды могли связываться с революцией.

Правда, некоторым казалось, что в Европе наступил «золотой век надёжности» — материальный достаток стимулировал эмоциональную беззаботность. В Австро-Венгрии «никто не верил в войны, в революции и перевороты, — писал С. Цвейг. — Все радикальное, все насильственное казалось уже невозможным в эру благоразумия» [Цвейг 2004: 10–11]. Трудно было поверить, что подобное состояние может породить футуристическую агрессию, или анархический протест. Тем не менее, за фасадом европейского прогресса притаилась «агрессия рациональности», которой предстояло перевернуть привычный мир.

Симптомы грядущего катаклизма были представлены не только философией Ф. Ницше. «Мы хотим прославить войну — единственную гигиену мира — милитаризм, патриотизм, разрушительный жест анархистов, прекрасные идеи, обрекающие на смерть, и презрение к женщине» [Манифесты итальянского футуризма 1914: 7], — взывал в 1909 г. Ф. Маринетти. Начало века, позднее ностальгически названное *belle époque*, породило чудовищно самонадеянное поколение образованных людей, готовое покорить не просто окружающее пространство, но и саму историю.

Люди впервые превращались в жертвенных заложников «прогресса». Нельзя сказать, чтобы этого никто не замечал. В бытие европейских народов все же вкрадывалось подозрение о неустойчивости международной ситуации. Это провоцировало соблазн ещё более стремительного рывка вперёд — в том числе и через «освободительную» войну. Европейский мир стал «революционным» изнутри. То, что последовавшая вслед за тем мировая война в полном смысле стёрла личные биографии людей, прославлявших «прогрессивный» передел всего — и ближнего, и дальнего — окружающего пространства, смотрится символично. История не терпит людского легкомыслия. Но тогда об этом почему-то не задумывались.

Со временем причины, породившие такую ситуацию, сегодня стали более различимыми: промышленный прогресс убеждал его во «всесилии» технологизированного человека; информационная революция усиливала иллюзорный компонент его сознания; соответственно возрастала эмоциональность, а заодно и «безрассудность» обычных людей. Так, в самый ход истории вмешалась агрегированная психика «маленького человека» [Булдаков, Леонтьева 2015: 10, 15–17]. На этом фоне поведение правителей, мыслящих категориями прошлых веков, стало фактором *провоцирования* войн и революций. Истинный их «виновник» надолго спрятался за барьерами «прогрессистского» недоумения и недомыслия.

Мировую войну породила европейская «революция предположений» (альтернатив тяготившему *status quo*), выросшая из несостоявшихся людских ожиданий. «Поскольку притязания стали таковы, что их ни одно общество на *законных* основаниях удовлетворить не в силах, возникла необходимость либо дискредитировать цивилизованный закон, либо объявить его действующим только для своих, — отмечал А. Панарин. — Мировая война стала итогом этой жёсткой дилеммы: либо как-то укротить потребительские притязания внутри страны, с риском вызвать тотальную политическую дестабилизацию, либо вынести потребительскую агрессию зависти, захвата, перераспределительства вовне, обратив ее на другие народы» [Панарин 2014: 124]. Тогдашнее психоэмоциональное состояние Европы, в отличие от России, было таково, что стал возможным только второй вариант.

К началу XX в. произошёл своего рода эмоциональный перегрев всей европейской культурной среды — относительно «сытой», старающейся мыслить «рационально», но остающейся социально и психически неустойчивой. «Одной из наиболее опасных черт современной мысли является неврастеническая импульсивность, которая делает ее жертвой меняющихся настроений и предположений», — отмечал известный историк П.Г. Виноградов [Виноградов 2010: 438] (оставаясь при этом исследователем позитивистского склада). *Mass media* доводили эту импульсивность до вспышек социальной истерии. Эмоции вторгались в «большую политику».

Глобализация сталкивает ранее отчуждённые миры, и трудно надеяться, что они скоро найдут язык взаимопонимания. В известном смысле большевики предложили свой «универсалистский» проект устранения обострившихся противоречий. Он был утопичным, однако, подкупал своей псевдо/гуманистической составляющей, минимизирующей в глазах людей революционный способ своего воплощения. Впрочем, европейский мир был *уже* пронизан насилием изнутри. Знаки этого отмечались и в России: в 1908 г. некоторые столичные журналисты развлекались тем, что устраивали жуткие экзекуции над кошками — это папахивало Средневековьем. Однако современники считали подобные девиации *политическим* «знаком своего времени»: страна, якобы, «была объята духом палачества, которым незримо руководил сам Столыпин» [Дымов 2014: 54]. В России вообще слишком часто говорят о «духе» (который иной раз выступает суррогатом политики).

Замерить степень агрессивности общества, находясь внутри его, вряд ли возможно. Однако со стороны бывает заметно, когда и как массовое сознание начинает рыскать в поисках подходящего образа врага. И каковой, конечно, находится. И тогда остаётся лишь придать ему inferнальный облик и соответствующую масштабность.

Характерно, что в российской церковной прессе проблему войны сразу же попытались поднять на историко-онтологический уровень. «Пожар европейский и мировой провиденциально неизбежен, — уверяли в „Церковном вестнике“. — Лживый европейский мир и не менее лживый европейский мир обречены на этот огонь... Европа уже давно превратилась в огнедышащий вулкан, прикрытый поверхностным и обманчивым покровом мирной буржуазной жизни» [Церковный вестник. 1914: 1040]. Подобные заявления, в сущности, были вполне

изоморфны образу мысли Ленина. Можно сказать, что вождь революции призвал себе на помощь «революционных» всадников Апокалипсиса.

Нечто подобное ранее высказывалось и в Европе. Макс Шелер (перешедший из протестантства в католичество, что примечательно) исходил из того, что человек — это «заболевшее своим духом животное» [Шелер 1994: 93]. Отталкивался от представления, заимствованного у Ницше, он утверждал, что «буржуазная мораль, которая, начиная с XIII века, все больше вытесняет христианскую..., уходит своими корнями в ресентимент» [Шелер 1999: 69] (*Ressentiment* (фр.) — злопамятство, злоба, своего рода базовый страх). Иначе, по его мнению, иначе быть не могло ибо человек — это одновременно верующее, разумное (*Homo sapiens*) существо и убогое социальное создание, определяемое дурными влечениями (*Homo faber*) [Шелер 1994: 86]. В общем, это был неуслышанный вызов гуманистически-рационалистическим представлениям эпохи Просвещения.

Из посылок Шелера следовало, что людское сообщество способно провалиться в пучину неуправляемых страстей. Все к тому и шло. Стоит взглянуть в почтовые открытки конца XIX – начала XX в., как станет ясно, что европейский мир неуклонно пропитывался взаимной агрессивностью — сквозь покров цивилизованности прорывался затаившийся базовый страх [Первая мировая война на почтовых открытках 2014: 38–123]. Однако ни Х. Ортега-и-Гассет, ни К.-Г. Юнг ещё не успели высказаться на этот счёт.

Между тем уже в 1913–1914 гг. итальянские футуристы призывали к войне, рассчитывая, что она приведёт к тотальному обновлению мира. В сентябре 1914 г. появился манифест Карло Карра «Синтез футуристов о войне», выполненный в виде словесно-графического плаката, на котором клин (Futurismo — страны Антанты) вонзался в окружность (Passatismo — Германия и Австро-Венгрия). Страны каждой из коалиций наделялись определенным набором качеств. Примечательно, что Россия якобы воплощала в себе силу, твёрдость, непреклонность и количество, Франция — разум, смелость, скорость, элегантность, спонтанность, взрывной характер, Англия — дух практичности, долг, честность, коммерция, индивидуализм. Зато их противники являли нечто отталкивающее и, вместе с тем, странное: Германия: подбострастие, сборище лжефилософов, тяжесть, гибкость, педантичность, археология, жестокость, бестактность. По части негативных символов, конечно, лидировала Австрия: глупость, грязь жестокость, тупость политики, густая кровь, виселица, шпионаж, лицемерие, побирательство, инквизиция, обыск, клопы, священники [Козлов 2016: 48–50]. В общем, футуристические символы словно слились с племенными эмоциями. Через несколько лет символика клина, вонзающегося в окружность, повторится в знаменитом плакате Л. Лисицкого.

Известно, что «смертельное притягивает». По представлениям Шелера, «человек — это страх», который «ведёт к предельной воле к власти». Отсюда можно было предположить, что Европа сорвётся либо в войну, либо в революцию. Шелер не был, однако, простым эпигоном Ницше. Он верил, что уравновесить страх может любовь, причём «не только любовь к известному, но и к неизвестному по своей сути» [Шелер 2007: 89]. Получалось, что ужас непредсказуемости может вытеснить футуристическая утопия (парафраз ницшеанской «любви к дальнему»). Символично, что в начале 1915 г. Шелер выступил с 400-страничной книгой «Гений войны и немецкая война», в которой признал, что корни войны — в самой жизни [Scheler 1915: 43]. Безумство хотелось оправдать.

Чувствовать по-русски?

Российский авторитарный патернализм породил эндогенный ресентимент особого рода. Поэт Андрей Белый, человек болезненно тонкого мировосприятия, добавил к портрету интеллигентской среды некоторые штрихи, которые остались незамеченными авторами

«Вех». Он писал, что в начале XX в. «независимая молодёжь» вынуждена была развиваться наперекор своей социальной среде, в результате чего выходила в самостоятельную жизнь с ощущением «разбитости и ободранностью жизнью». В 20 лет представитель его поколения становился «неврастеником, самопротиворечивым истериком или безвольным ироником с надорванной душой». Возникающие на этой почве «общественные коллективы влачили жалкое существование», обнаруживая «безвольную неврастению под формой либерального фразёрства, которому — грош цена» [Белый 1990: 8]. Правда, А. Белый написал эти строки в феврале 1932 г. после длительных усилий по адаптации к большевистскому режиму. Написал, прежде всего, о самом себе. Естественно, дореволюционная Россия вызывала у него негативные ассоциации: «и в гнилом государственном организме, и в либерально-буржуазной интеллигенции... ощущался отвратительный, пронизывающий запах мирового мещанства, быт которого... трудно изменяем при всех политических переворотах» [Белый 1990: 8–9].

Весь российский XIX в. был пронизан травматическими переживаниями, порождавшими ощущения потерянности, отчаяния, печали, гнева, ненависти, злобы [Steinberg, Sobol 2011: 14]. Все это очень заметно. Позитивные эмоции выявлять и классифицировать сложнее — особенно применительно к революционному времени. Видимо поэтому западные авторы предпочитают писать об универсальных культурных стандартах [Stearns, Stearns 1985: 813–836; Ahmed 2004: 4–13], выход за пределы которых связан по преимуществу с персональными аффективными состояниями [The Affective Turn 2007; Agnew 2007: 299–312]. Такие подходы для осмысления истории революции, несомненно, продуктивны, однако для их реализации требуется основательная эмпирическая база, связанная, прежде всего, с «тонкими структурами» исторического бытия [Buldakov 1 2000: 217–240; Buldakov 2 2000: 230–259; Булдаков 2004; Buldakov 2010; Булдаков 2014]. А это уже «рискованная» задача: далеко не все открытия могут оказаться эмоционально «вдохновляющими».

Возможно, по этой причине западные авторы уходят от дискурса общей психопатологии революционного времени. О «стадности» российской эмоциональной жизни, включающей в себя и неумеренные восторги, и истерическую воинственность, ими также практически не упоминается [Suny 2011]. Впрочем, возможно, это делается из привычной политкорректности. Однако в 1906 г. западные авторы не стеснялись сравнивать умопомрачения толп времён Великой французской революции со сходными явлениями в бунтующей России [Кабанес, Насс 1998: 255–378]. Зато некоторым сегодняшним российским историкам тема психопатологии революции кажется надуманной [Шубин 2014: 132–133]. Что делать: это действительно намного усложняет исследовательскую задачу.

В те годы многие говорили, что «мир сошёл с ума». Но чем были вызваны подобные представления: болезненной социальной генетикой или реальными психосоциальными подвижками? Поэтому объяснять, даже ссылаясь на подобные авторитеты, что российское культурное пространство отличалось повышенной эмоциональностью, — задача рискованная. Между тем, *всякая* традиционная культура перенасыщена страхами (даже в тех случаях, когда обычай предписывает скрывать их), ибо бытование нашего первобытного пращура складывалась из серии непосредственных реакций (а не рефлексии) на внешние обстоятельства. Вдобавок патернализм — особенно в его российском «крепостническом» воплощении — усиливал «инфантилизацию» сознания. Прочие культурно-исторические факторы консервировали психоэмоциональную архаику.

Нынешним теоретикам «Великой российской революции» (как и поклонниками «Великой Октябрьской социалистической революции») всего этого не хочется замечать. Отсюда попытки выстроить наиболее гибкую *позитивистскую* схему революции. Начинается, естественно, с критики западных представлений о революции. Естественно, и Ш. Эйзенштадт, и Д. Пейдж, и Т. Скочпол, и С. Хантингтон, и Э. Гидденс, и Ч. Тилли [Концепт «революция» в

современном политическом дискурсе 2008: 131–142] оказываются не вполне правы. В конечном счёте, у А. Шубина получается, что революция — это **«процесс преодоления системообразующих структур общества путём социально-политической конфронтации»** (выделено в цитируемом тексте) [Шубин 2014: 12]. Со столь общим определением трудно не согласиться. Однако вызывает сомнение заявление, что «процесс низвержения начинается с момента массовых выступлений против этого строя, а утверждение принципиально новых отношений происходит уже после прихода к власти (иногда — частичного) сторонников нового строя» [Шубин 2014: 13]. Во-первых, хотелось бы знать, откуда берутся массовые выступления; во-вторых, от кого зависит «утверждение принципиально новых отношений» — неужели от власти? Автор считает, **«до начала революции наиболее важным субъективным фактором является деятельность самого правительства**, которое либо „рассасывает“ революционный кризис, либо провоцирует массы на революционный кризис» [Шубин 2014: 18].

Но все ли в действительности может зависеть от власти — плохой или хорошей? Стоило бы напомнить, что ещё историки Великой французской революции, начиная с Ж. де Метра, подметили, что ее лидеры были скорее пассивными орудиями в руках стихийных событий. Может быть, все решают *представления* о власти, а ее манящий образ способен сыграть куда более основательную роль, чем сами революционеры? Кстати сказать, у В.И. Ленина, которого старается «переформулировать» А.В. Шубин, большой интерес вызывала *психологическая* сторона «революционной ситуации», а не социологические контуры свершившейся революции (его воззрения на возможности новой власти оставались скорее предположительными). До революции Ленин подчёркивал тотальную невозможность жить «по-старому», в результате чего в «трещину», вызванную кризисом политики господствующего класса, «прорывается недовольство и возмущение угнетённых классов» [Ленин Т. 26: 218]. В конечном счёте, Шубин усомнился в двух ленинских положениях: «нужда и бедствия угнетённых классов» трансформируются у него в «торможение роста и хотя бы частичное падение благосостояния трудящихся классов»; революция из марксовского «локомотива» превращается в **«таран истории»** [Шубин 2014: 22, 23]. В общем, вряд ли можно признать попытки Шубина «переформулировать» концепт революции впечатляющими. К тому же, они кажутся весьма запоздалыми. И, конечно, из подобных построений исчезает проблематика культуры и культурного антропологизма. Между тем постмарксистские историки французской революции Ф. Фюре, Л. Хант, К. Бейкер давно предложили оценивать революции, исходя из социальных практик, сложившихся в глубинах культурных системы [Suny 1994: 182]. Такой подход предполагал совершенно иной взгляд на революции — «изнутри хаоса». А это чревато отнюдь не вдохновляющими открытиями из области психопатологии революционного времени.

Остаётся только гадать, с чем связана привязанность к квазимарксистским представлениям о революции в современной России. Стоит однако напомнить, что западные неомарксисты давно отказались от прогрессистского, стадияльного видения истории, обращая особое внимание на такие «антиреволюционные» факторы, как недоразвитость развития, отсталость, пережитки в истории тех или иных народов [Althusser 1966: 54]. Все эти факторы не могут не сказаться в революции. И не стоит думать, что они значат меньше, чем привычные объективные характеристики — в истории революций они приобретают смысл только в силу *субъективного* их восприятия.

Ещё в конце XX в. западные авторы заговорили об «эмоциональном» или «аффективном повороте» в общественных науках, в начале нынешнего столетия дошла очередь до истории [Steinberg, Sobol 2011: 3] (хотя, строго говоря, принципы так называемой новой культурной истории включали в себя и «эмоциологический» подход [The New Cultural History 1989]). Похоже, что некоторые обществоведы кинулись в историю эмоций вследствие испуга перед

кризисом рациональных объяснений [Suny 2011: 102]. Впрочем, их теоретизирование вылилось скорее в когнитивное замешательство, нежели во взаимопонимание¹. Возможно, за этим стоит стремление объяснить политические «неожиданности» современности через сложности персональной самоидентификации. Однако вряд ли стоит сводить эмоции российской революции к ситуационным аффектациям. «Культура взрыва» имела куда более глубокие ресентиментные корни. И она связана не только и не столько с личными идентификационными устремлениями (которым уделяется преимущественное внимание²), но и идентификацию через «свое» (старое или новое, устойчивое или эфемерное) сообщество. Во всяком случае, феномен «бунта по-русски» в значительной степени связан с этим фактором.

К тому же, размышляя о странноватой склонности к классификации и даже «стандартизации» эмоций, возникает подозрение, что такое увлечение может возникнуть только в чрезмерно регламентированном обществе, пронизанном бытовым ханжеством или поражённом чувственной немощью. «Криптонормативизм — грех гуманитарных наук, кичащихся беспристрастностью» [Хабермас 2008: 293], — считал Ю. Хабермас. На этом фоне легко было впасть в занудливое и когнитивно бесплодное морализаторство. Впрочем, за этим могут стоять и обычные издержки позитивизма, а равно и попытки выбраться из его эпистемологических тупиков. В любом случае это сомнительный подход к синергетике революции — этому буйству системно-нелинейных взаимозависимостей.

Конечно, в России всегда скорее *чувствовали*, нежели мыслили. Так сложилось. В отличие от Европы здесь не знали разделения власти на светскую и духовную. Это препятствовало формированию области собственно *политического* (отчуждённого от сакрального). «Расчётливая» и «предусмотрительная» (в европейском смысле слова) политика подменялась эмоциональными реакциями на *задуманное* и *содеянное* властью. И этому тоже были свои глубинные причины.

Российская история не знала планомерного дисциплинирующего насилия в лице Инквизиции — процесс форматирования социальной среды затянулся. Отсутствие в российской средневековой культуре университетов с их неперемной латынью препятствовало формированию универсальной сферы *логического*, трансформирующего эмоциональные выплески со стороны низов в собственно политику. «Обделена» была Россия и дисциплинирующей сознание школой средневековой схоластики — отсюда запоздалое следование «непререкаемым» принципам и авторитетам. Можно вспомнить и о том, что в отличие от европейца россиянин, отчуждённый от традиций римского права, не умел мыслить категориями формального закона, предпочитая максимы справедливости и правды. Не стоит забывать и о наследии крепостничества: чем ближе к центру, тем *больше* его было в России [Эткинд 2016: 195]. Попросту говоря, *Homo rossicus* не был социально отформатирован для демократии, к которой стремились европеизированные политики. Но об этом абстрактно социологизирующие историки почему-то стараются забыть.

Подданный «абсолютной» власти не понимал условного — в онтологическом смысле — характера политической жизни. Отсюда и постоянная подмена политического «расчета» спонтанными эмоциональными — часто противоречивыми — реакциями. Обычно они приобретали характер перверсий: между «Да здравствует!» и «Долой!» не находилось места для

¹ Так, отмечается, что представления Уильяма Риди об «эмоциональных режимах» [Ready 2001] не стыкуются с представлениями Барбары Розенвейн [Rosenwein 2002] об «эмоциональных общностях» [Steinberg, Sobol 2011: 10]. Можно согласиться с этим замечанием, отдавая предпочтение идее «аффективной связки» (affective tie) Рональда Суни [Suny 2011]. Аффективные порывы действительно характерны для этномобилизационных процессов, известным специалистом по которым и является Р. Суни.

² Показательны в этом отношении западные работы по субъективности [Halfin 2000; Hellbeck 2006]. В них, как правило, недооценивается инерция групповой (пост- или квазиобщинной) идентификации перед лицом власти.

диалоговых усреднений. «Отказываюсь понимать два сорта людей: монархистов и анархистов», — писала 24 мая 1917 г. студентка Одесской консерватории в своем дневнике (представлявшем скорее калейдоскоп эмоций, нежели хронику событий). (После победы большевиков она призналась: «Я все правее и правее и, наверно, доправее до монархистки» [Лакиер 2013: 146]). В дополнение ко всему, эмоциональные порывы носили «стадный» характер, захватывающий даже рассудительных людей. В связи с этим «политический» выбор выпал своего рода символическим маркером *неполитических* страстей. Стихийные эмоции масс по-своему распоряжались судьбами политиков.

Некоторые российские мыслители догадывались, что под обывательской поверхностью относительно сытой жизни может бродить «тёмное вино». Кое-кто связывал его выплески с футуризмом. «...Русский футуризм был пророком и предтечей тех страшных карикатур и нелепостей, которые явила нам эпоха войны и революции; он отразил в своем туманном зеркале своеобразный весёлый ужас, который сидит в русской душе и о котором многие „прозорливые“ и очень умные люди не догадывались», — писал А. Блок [Блок 1962: 181]. Высказывались и иные суждения. «В русской политической жизни, в русской государственности скрыто тёмное иррациональное начало, и оно опрокидывает все теории политического рационализма», — считал Н. Бердяев. Происхождение этой «варварской тьмы» он связал с географическим фактором — неспособностью россиянина организовать громадные пространства³. Переадресовав эту миссию центральной власти, *Homo rossicus* возвёл её в нечто трансцендентное. Русский человек «привык быть организуемым» [Бердяев 1990: 54, 61, 66, 68]. Отсюда возможность стихийного бунта против «дурной организации», препятствующей воплощению «идеала».

Впрочем, известно и другое. Общество может пониматься не как сумма индивидов, а «живой поток, поверхность которого может быть частично освещена мерцающим светом разума, но который берет начало в подземных источниках и течёт к неведомому морю» [Доусон 2002: 271]. Трудно не согласиться с тем, что человек, ощутивший свое бессилие перед потоками войн и революций, не будет жаждать упорядочения мира и потому будет готов отдаться «в объятия тоталитаризмов, которые являются искажением надежды» [Рикёр 2002: 518]. Но тоталитарность может пониматься по-разному: и как совершенная *политико-механическая* организация общества, и как некая «соборная» завершённая. Чего же хотели в России? На что была нацелена «революция по-русски»?

Примечательно, что Бердяев писал о «чисто женском» отношении россиян к идолу государственности. А это, в свою очередь, не исключало периодических «бабьих бунтов» против объекта поклонения [Бердяев 1990: 39]. Разумеется, подобная гипотеза может смутить некоторых пост-советских авторов, привыкших выводить физическое (а, следовательно, и духовное) самочувствие народа из официальных данных, задним числом предписывая ему смиренное поведение перед властью предрешающими. Однако история раскручивается вовсе не по тем «законам», которые пытается навязать ей ограниченный, но догматично-самонадеянный ум.

У россиянина почему-то никак не складывались отношения с *социальной* дисциплиной. Он по-своему реагировал на ситуацию безвластия.

В сентябре 1916 г. во время пребывания в германском плену генерал-лейтенант русской армии А.Н. Розеншильд фон Паулин составил крайне негативное отчёт о поведении русских офицеров в лагерях для военнопленных. Они и внешне отличались от пленных французов: имели «невыразимо грязный и неряшливый наружных вид», пренебрегали элементарной гигиены, потеряли всякое представление не только о дисциплине, но и об элементарной веж-

³ Это положение в свое время весьма продуктивно разрабатывал [Королев 1997].

ливости, обнаруживали «сплошное наружное и внутреннее хамство». Со своими генералами русские офицеры вели себя вызывающе, на построениях держали руки в карманах, курили; между собой конфликтовали. В их среде, особенно в первые дни плена, обнаруживались «не офицерские, мальчишеские и даже хулиганские поступки: площадная ругань, битье по лицу друг друга и пр.». Заметно было также нежелание занимать какую бы то ни было руководящую должность для поддержания внутреннего распорядка. Многие офицеры «пресмыкались перед немцами», своих собственных генералов, напротив, готовы были оклеветать, а Николай II подчас называли преступником [Розеншильд фон Паулин 2014: 346–349].

Конечно, воспоминания этого генерала, нетерпимого и желчного, далеки от объективности. На его характеристики можно было бы не обращать внимания, если бы не одно обстоятельство. Оказавшись за пределами привычного социума, пленные русские офицеры вели себя точно так же, как солдаты в России после падения самодержавия. Получалось, что даже образованного россиянина отличал крайне низкий уровень «естественной» (без давления сверху) социализации и неразвитость гражданского чувства.

Возникает резонное предположение: и «тёмное вино», и «инфантильный» социальный негативизм были устойчивым компонентом психики пресловутого *Homo rossicus*'а. Авторитарно-патерналистская система сделала его «скрытым» бунтарём. В развитом гражданском обществе экстремальные обстоятельства вызывают реакцию социальной консолидации; российская среда обнаруживала нечто противоположное. А потому в августе 1914 г. даже в правительственных кругах учитывалась «неизбежность народного прогрессивного или даже революционного движения вслед за окончанием войны» [Толстой 1997: 534]. Российские либералы столь же боязливо связывали войну с революцией. Правый кадет В.А. Маклаков ещё в 1912 г. заявил с думской трибуны: «Новая война — это новая революция» [Государственная дума 1914: 505]. В годы войны русские либералы постоянно вспоминали об угрозе 1905 г. Милюков безуспешно пытался сдерживать панические настроения [Россия в годы Первой мировой войны 2014: 563–566]. Ему приписывались слова: «Лучше поражение, чем революция». А 3 марта 1916 г. он заявил в Думе: «...Я знаю, что революция в России непременно приведёт нас к поражению, и недаром этого так жаждет наш враг» [Мельгунов 1979: 76]. Однако в декабре 1916 г. ему пришлось признать: «Атмосфера насыщена электричеством, и в воздухе чувствуется приближение грозы. Никто не знает, где и когда грянет удар» [Русское слово. 1916. 17 дек.]. В отличие от Милюкова левые социалисты и анархисты в России думали не столько о победе, сколько ждали революцию. Такого в Европе не было.

Возникает вопрос: с помощью каких источников можно уловить полузадавленные эмоции российского «злого бессилия» и «базового страха», которые, вырвавшись наружу, способны превратиться в стихийный двигатель истории? Какие документы способны пролить свет на «особые» взаимоотношения российских эмоций и политики? И можно ли убедить в этом «социологизирующих» авторов, не замечающих иных источников, кроме мемуаров проштрафившихся политиков?

Историю революционных эмоций можно увидеть только изнутри. Очевидно, наиболее впечатляющую информацию можно получить из источников личного происхождения — дневников и писем. Но дневники в России велись обычно образованными людьми. Что касается писем, то люди недостаточно грамотные вряд ли умели адекватно доносить *свои* эмоции. Что касается массовых революционных психозов, то здесь требуются сложные методики извлечения информации из документов общего характера. Но это вполне возможно. Во всяком случае, попытки фрейдистской интерпретации событий французской революции выглядят куда интереснее привычных социологических интерпретаций [Московичи 1996].

Разумеется, все, что касается «эмоциологии истории», будет носить заведомо приблизительный характер. Приходится учитывать и преобладание неустойчивых эмоциональных со-

стояний, и особую контагиозность навязчивых представлений в России. Но не стоит забывать: если что-то ощущается, но не улавливается эмпирически, это не значит, что его не существует.

Образы мировой войны

Начало мировой войны сопровождалось своего рода эмоциональным «обвалом». Европейские социалисты тут же забыли о своих революционных антивоенных обещаниях. Вялая реакция на убийство во Франции Ж. Жореса вполне это подтверждала. Более того, на пропагандистских открытках Жорес стал изображаться рядом с Клемансо и другими яркими сторонниками войны [Первая мировая война на почтовых открытках 2014: 41]. Похоже, это абсурдное соседство теперь казалось «нормой». А западным «нормам» российская интеллигенция старалась подражать. И снова вопрос: до какой степени?

Российский интеллигентский «образ мира» в значительной степени выстраивался на представлениях об облике Европы — в основном надуманных. Война заставила усомниться и в западном прогрессе, и в европейской революционности. «Европейские события окончательно перепутали все карты... чувствуется какое-то угнетённое состояние...», — писал неустановленный автор 29 июля 1914 г. «Мы стоим перед фактом стихийно развивающихся событий, — сообщали 5 августа из Екатеринослава в Москву. — ...Внешне проходит пока все стройно, если не считать отдельных столкновений офицеров с солдатами, но эта стройность скомкается очень скоро в процессе военных действий... Militarизм организовал и вооружил демократию — он сам пожнёт плоды своих трудов» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 39, 48].

Некоторые современные российские авторы уверены, однако, в искренности патриотического энтузиазма, с которым все слои российского общества встретили весть о начале войны. Демонстративные манифестации выдаются за суть общественных настроений. На деле в экстремальных ситуациях громкие заявления и «тайные думы» обычно расходятся. За шумным «патриотизмом» таится испуг непредсказуемости⁴. Страх перед приблизившимся призраком смерти не мог не активизировать дремлющий патерналистский инстинкт. И это не имело ничего общего ни гражданским патриотизмом, ни с шовинистическим милитаризмом. Эмоции *расходились* с политикой, хотя последняя не без успеха использовала именно их.

Известно, что перед войной недовольство петербургских рабочих едва не переросло в революционное выступление. Впрочем, независимо от этого, в населении уже существовала убежденность в особой революционности русского пролетариата. Что лежало в основе таких представлений: констатация известного или декларация ожидаемого? Ведь со временем даже западные авторы втянулись в «теоретический» спор застойных советских времён: что определяло поведение пролетариата — стихийность или сознательность? Не следует ли исходить из «многообещающего» понятия «классовый инстинкт» [Krylova 2003: 1–23; Zelnik 2003: 24–33; Halfin 2003: 34–39]?

Русский пролетарий — это человек традиционного общества, «смущённый» городской средой. Он эмоционален уже *не так*, как крестьянин. До революции в стихах его представи-

⁴ Нечто подобное зафиксировали западные авторы, проанализировавшие ситуацию в Германии. Так, М. Залевски отмечает, что «в высокотехнологичный, научно организованный мир модернизма просочились самые древние антропологические прототипы, даже невиданные до тех пор атавизмы: опубликованные суждения о начале войны изобиловали такими метафорами, в которых речь шла лишь о жизни или смерти, о смелости или трусости, о надежде или отчаянии» [Залевски 2008: 405]. Новейшее отечественное исследование рисует «противоречивую картину милитаристских и антивоенных настроений, доносов и даже поношений императора, идущих от низов и эмоционально взвинченных женщин» в Австро-Венгрии [Миронов 2011: С. 19–20, 65–66].

телей было заметно не только чувство духовной обездоленности, но гордость приобщения к машинному производству, и стремление к «революционно-коллективистскому» преодолению своего положения [Булдаков 2013: 367–393]. Война, конечно, вызвала в и пролетарской среде заметный подъем «патриотических» чувств, но это касалось далеко не всех рабочих. Даже в толпах демонстрантов встречались рабочие, настроенные и против войны, и против «буржуев», и против царя [Борщукова 2013]. А в Екатеринославе запасные, возмущившись запретом бесплатного проезда в трамвае, «взяли штурмом вагоны, повыкидали городских и навели панику на полицию». Губернатору они угрожали вооружённым насилием [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 23, 48].

В отличие от «патриотичных» горожан деревенские призывники демонстрировали нечто противоположное: пьяные бунты и погромы, сопровождавшиеся крайним озлоблением, социальными угрозами и поношениями «царя-батюшки», случались повсеместно [Беркевич 1947: 19–21, 37–38; Посадский 2002: 32, 98, 106]. И дело было не только в недовольстве запретом продажи спиртного (воспринимаемым как покушение на обычай и ритуал). Всколыхнулось привычное недовольство помещиками и купцами, поддерживаемое социалистической пропагандой. Но не только. В сознании архаичных социумов развернулся своего рода поиск «главного врага». Последний был необходим традиционалистскому сознанию для восстановления порушенной войной и без того достаточно сложной картины мира.

Отсюда понятны и недолгие шапкозакидательские настроения на фронте. В октябре 1914 г. некий «Жорик» сообщал в Москву о том, что, несмотря на громадные потери, «все воюют с полным сознанием своего боевого долга» и готовы «мстить за наших братьев — славян...». Возможно, это была обычная бравада, возможно кавалер «рисовался» перед дамой. Конечно, сказывалась и инерция показного патриотизма. Писал же в ноябре 1914 г. некий нижний чин в Пензу: «Умру около своего 5-го орудия за Царя и Отечество и за Русь, святую Веру» [Письма с войны 2015: 106, 107, 111]. Пропаганда навязывала, помимо всего, «стандартную» фразеологию.

Куда более симптоматичны прямо противоположные высказывания. Член Государственной думы большевик Г.И. Петровский в частном письме уверял, что в среде рабочих «отношение к войне самое отрицательное», рабочие, сознавая свою обездоленность, говорят, «какой патриотизм может быть у нас» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 977. Л. 2]. Разумеется, здесь не обошлось без попытки выдать желаемое за действительное. Но рассчитывать на устойчивость чувства патриотизма в среде, из которой усердно вырывалось «пушечное мясо», не приходилось.

В начале ноября 1914 г. из запасного (что характерно!) пехотного батальона некий А.Е. Лихачев жаловался, что солдат «как скотину ведут на бойню». Здесь, возможно, сказывалось влияние пацифистской пропаганды, сомкнувшейся с личными страхами. Порой тяготы военной страды порождали настоящее отчаяние. Один офицер после недолгого пребывания на передовой жаловался на расшатанные нервы, просился в тыл, аргументируя это тем, что «есть тысячи офицеров, которые ещё не нюхали пороха». Со временем навязчивая пропаганда могла вызвать эмоции, противоположные ожидаемым. В конце 1914 г. старший врач одного из пехотных полков, писал в Москву: «Как попадаете нам московская или петроградская газета, мы зеленеем от злости, читая бумажно-патриотические статьи против заключения мира да еще со ссылкой на армию, которая, дескать, горит желанием воевать...» [Письма с войны 2015: 111, 109, 489, 115, 635].

В любом случае следует разделять показной (стадный) отклик на угрожающее событие и естественную (личную) реакцию. Последняя характерна для любых сообществ, ибо связана с первоосновой биологического существования. Зажиточные австрийские крестьяне в начале войны больше всего волновались за судьбы своего хозяйства [Миронов 2011: 19]. В Германии

шовинистически восторги демонстрировали преимущественно бюргеры и лица свободных профессий, а в целом событиями управлял глубинный страх, запятанный за карнавальными формами манифестаций [Verhey 2006: 73–83, 96]. В русской деревне отчаяния не таили: сообщали, что «крики, стоны, рыдания не прекращаются». Звучало и недовольство тем, что «берут ужасно много» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 14], — возможно, таилась надежда, что того-то мобилизация обойдёт стороной, и деревня лишится только «лишних» людей.

Но главное в другом. До сих пор не оценено должным образом поразительное явление: если в западных странах всерьёз восприняли идею «священного единения» всех слоёв общества против общего врага, то в России образованные люди заговорили — кто со страхом, кто с надеждой — о *неизбежности* революции. Расходились только в сроках. В либеральных кругах на Кавказе, если верить Н.Я. Марру (будущему советскому академику), были убеждены, что «после войны должны наступить коренные реформы... и что если таковые не наступят, то быть беде...». Нечто подобное говорили и другие [Толстой 1997: 545, 567]. А, между тем, в народе о повторении событий 1905 г., казалось, не помышляли.

Особенно остро реагировала на войну российская революционная эмиграция. Из Франции сообщали: «Все русские покидают Францию... Говорят в России готовятся к революции. Двое русских эмигрантов, приговорённых к смертной казни, радостные мечтают вернуться во время беспорядков в Россию...» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976]. Однако в большинстве своем эмигранты-революционеры записывались добровольцами во французскую армию: добраться до родины было сложно. Не оставались в стороне люди творческих профессий. «Я как прапорщик запаса решил тотчас же ехать в Россию, чтобы занять место в армии, — писал художник М.Ф. Ларионов из Франции. — Паника по всей Европе стояла неопишуемая... Все русские рвутся в Россию...» [Крусанов 2010: 482].

Трудно сказать, чего было больше во всем этом: патриотизма или революционаризма. Несомненно, однако, что и то и другое было обусловлено эмоциональной импульсивностью. Порой эмоции перерастали в психозы. Муссировались «революционные» слухи. «...Все Царство Польское объято революцией, которая может привести к очень печальному результату...», — уверял некий «друг Арон» из Одессы [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 17]. Обычные люди, оторванные от «судьбоносных» решений, принимались безудержно фантазировать. Фантазии усиливались страхом неизвестности.

Подчас образы войны и революции сливались в странноватую амальгаму. «Поеду только на передовые позиции, хочется судьбу попытать..., — писал один студент. — Настаёт великое время и великое дело, перед которым вся грандиозная война померкнет. Подготавливается государственный переворот... Зарождается новая жизнь и новое счастье... Последний день войны будет первым днём русской революции... Не надо больше войны, не надо крови» [Булдаков, Леонтьева 2015: 155].

В либеральной среде обозначились опасения «реакции». «[После победы] ...они Царь и его присные будут чувствовать ещё более твёрдую почву под ногами и, разумеется, постараются гнуть Россию в бараний рог по-прежнему..., — писала московскому городскому голове кадету М.В. Челнокову некая «русская женщина». — Я понимаю, что теперь не такое время, чтобы заниматься распрями — они не помогут, напротив, дадут сумасшедшему Вильгельму лишний козырь...» [Булдаков, Леонтьева 2015: 148–149]. Непонимание причин и последствий войны усиливали страхи перед грядущим миром.

Особо впечатляюще применительно к революционно/контрреволюционным эмоциям смотрятся дневники профессора Б.В. Никольского, члена Союза русского народа. Этот человек отличался крайней раздражительностью и уникальной язвительностью. Будучи монархистом, он не любил Николая II, именуя его уничижительно — «полковник». Впрочем, начало войны он встретил довольно легкомысленно: немцев следуют побить, значит их «непременно

побьют» — иного быть не может. «Не могу принудить себя усомниться в нашем успехе», — писал он. Эмоции попросту забивали разум. И тут же он принялся сочинять «продолжение войны»: после победы над Германией последует сражение то ли с Англией, то ли со всем остальным миром (нечто подобное воображал и Ленин). Примечательно также, что при этом Никольский считал Вильгельма II «мечтателем, фантазёром», не желающим считаться с действительностью. Увы, трудно сказать, кто был способен тогда считаться с действительностью! Примечательно, что Никольский отнюдь не радовался показному «национальному единению», даже признавая, что «в Думе всё прилично, кроме хулиганского братанья Маркова и Пуришкевича с Милюковым». Заодно он поносил и «братьев-славян» [Никольский 2015: 195–198].

Война навязывает «революционный» (в худшем смысле слова) образ мысли и действий. В сентябре 1914 г. в некоторых письмах отмечалось: русские солдаты в Австрии занимаются грабежом и погромами, «... все низкие страсти здесь в открытую», местное население особенно боится казаков. Казаки, привыкшие «ходить за зипунами», действительно развращали солдат-крестьян. «Казаки наши то же, что курды; я думаю даже, что курды кое-что по части зверств заняли именно у наших казаков» [Фурманов 2015: 60], — так думали на Кавказском фронте. Сообщали также, что «нет сил бороться с мародёрством и растущим в войсках инстинктом бессмысленных разрушений» [Письма с войны 2015: 334, 335, 336]. Разумеется, официальная пропаганда уверяла в противоположном. И это также не могло не сказаться на общественных настроениях.

В критических условиях «твёрдые» политические императивы переживают поразительные перверсии, а общественная подозрительность вырастает до паранойи. Профессор Б. Никольский, во всем усматривал «враждебные происки». «По-видимому, не врут жиды, приписывая заигрывания с Польшей английским интригам, — писал он в дневнике 25 августа 1914 г. — Что за несчастье с этим царём!» Тут же он вспоминал и об «интригах негодяя Сухомлинова». А уже 19 октября отмечал, что в политике стало «печально и смутно»: «Распутин с одной стороны, Кривошеин с другой» [Никольский 2015: 202, 205]. У людей разыгрывалось воображение, в свою очередь оказывало соответствующее воздействие на «политические» убеждения. Так или иначе, странноватый феномен «монархисты против царя» проявил себя с началом войны. Особенно заметно он сказался в 1917 г.

Эмоциональные стрессы постоянно порождались несоответствием реального и желаемого на бытовом уровне. При этом общественное негодование легко опрокидывалось на власть — последней для этого бывает достаточно одного «неверного» жеста. Уже в конце 1914 г. в Петрограде муссировались слухи о том, что императрица с «„немецкой“ придворной партией» готовится заключить сепаратный мир, а «слабому» Николаю II противопоставляли его «решительного» дядю — верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича [Письма с войны 2015: 340; Толстой 1997: 552.]. Но до сколько-либо сознательного антимонархизма было далеко.

Воображение и революция

Чем сильнее воображение, тем фантазийнее эмоции. Композитор А.Н. Скрябин уверял, что в результате войны проснутся Азия и Африка. Европейская культура, полагал он, уже сказала свое слово. Из будущих величайших потрясений родится Мистерия, мировой пожар, последует «век социализма» (правда, недолгий). Социалистическим, тем не менее, может стать и весь земной шар, но может стать и одна лишь страна [Сабанеев 2003: 284–285]. В сущности, Скрябин воспринимал грядущую войну в параметрах «Симфонии экстаза». Таковы были крайности гения, живущего в мире воображаемого. Однако, бывают времена,

масштабные утопии подхватываются самыми разными людьми, а затем словно материализуются. В своем экстатическом утопизме Скрябин был не одинок [Геллер, Нике 2003: 148–158].

Русская «культура взрыва» (Ю. Лотман), безусловно, склонна к своего рода «обновленческому» эсхатологизму. Перед войной в поэзии пролетарских поэтов появлялись своего рода неохристианские фантазии, связанные с «новорожденным Богом» [Steinberg 2007: 323]. Вместе с тем, идея квазиреволюционного «обновления» была заметна и в относительно консервативной творческой среде. Чрезвычайно «модный» в те времена писатель Л.Н. Андреев 4 октября 1914 г. в письме ещё малоизвестному И.С. Шмелеву так объяснял свою «патриотическую» позицию: «Разгром Германии будет разгромом и всеевропейской реакции и началом целого цикла европейских революций. Отсюда и то необыкновенное и многих смущающее явление, что антимилитаристы и пацифисты Эрве и Кропоткин стоят за войну до самого конца. Отсюда и я, автор „Красного смеха“... также стою за войну. Конечно, ни для кого не тайна, что правительство под шумок уже загибает салазки... Есть у нас, писателей, и особой важности задача: противопоставить русскую культуру германской и доказать, что мы не варвары, хотя у нас нет внешней материальной культуры и богатства. Надобно всеми средствами показать, что русский дух есть вечное устремление к последней свободе, вплоть до анархии, немецкий же — стремление к вечному порабощению, к созданию на земле вечной тюрьмы и военных поселений. И уж, конечно, вовсе не следует искать здесь „национализм“, который также привезён к нам из Германии, как и военные поселения, и враждебен свободному духу нашему. Свобода для всех, а тюремщиков к черту!» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 978. Л. 23–23 об.]

С войной и революцией связывались пылкие надежды многих образованных русских людей. Причём, в отличие от Европы, баланс между ними все более склонялся в пользу революции. В начале апреля 1915 г. М. Горький высказывал опасение, что после войны «возникнут крупные беспорядки, спровоцированные Министерством внутренних дел», причём, к несчастью, от этого не приходится ожидать ничего хорошего, так как «русское движение имеет анархистический характер, антиобщественный» [Толстой 1997: 623]. В это же время Д.А. Фурманов, будучи на «благополучном» Кавказском фронте, под влиянием сообщений о том, что в тылу «бьют торговцев», а «фабрики бастуют», записывал в дневнике: «Можно со дня на день ожидать крупных взрывов, больших осложнений» [Фурманов 2015: 50]. «Взрыв» последовал через месяц — жуткий своей агрессивной бессмысленностью немецкий погром в Москве [Lohr 2003: 36–39; Булдаков, Леонтьева 2015: 287–292]. Связывать его с революцией почему-то не принято. Однако это был симптом настоящей *революционной* нестабильности.

Революция немыслима без деформации социального воображения. С началом войны информационные связи между Россией и Западом отнюдь не прервались. При этом активно формировались новые, как правило, негативные взаимопредставления. Этому способствовали слухи — обычный спутник экстремально неясных ситуаций.

Из Германии 11 августа 1914 г. сообщали: «Здесь газеты распространяют разные небылицы про Россию — будто Малороссия, Финляндия, Польша и т. д. собираются... объявить себя самостоятельными, будто солдаты неохотно идут в бой, и охотно сдаются в плен и т. д... Можно ожидать революции после войны. Это будет, пожалуй, солиднее, чем в прошлый раз» (в 1905 г. — В.Б.). Эмоции реактивировали пугающий опыт прошлого, порождая нравственные расколы. «Русскому царю надо было подавить приближающуюся вторую революцию и нашлись интеллигенты, которые объединяются с царём против родного народа, опьяняя себя словами: славянство, родина, — и забывая, что нельзя уничтожить германство — родину Вагнера и Бетховена, Канта и Гете», — писал неустановленный автор социал-демократу В.П. Махновцу. К революции толкали и страхи перед грядущей контрреволюцией. «Обстоятельства сложились так, что Россия, пожалуй, выйдет победительницей и

тогда реакция усилится и озверевает, но думаю, что и революция найдёт почву в разбитых жизнях, разрушенных хозяйствах, кризисе, безработице. И не только в России... но и в Германии и Австрии... — писал 2 августа 1914 г. неустановленный автор из Канады в Москву — Жить сейчас в Америке абсурдно. Ведь разыграются события, которых мир не видал...» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 62 об., 100, 97]. Некоторым казалось, что Россия становится эпицентром мировых событий. Страхи делали людей податливыми на утопии.

С началом войны не мог не сказаться такой взращённый деспотизмом (не столько реальным, как воображаемым) феномен российской политической культуры, как пораженчество. Впрочем, это обнаружилось не сразу. «В самом начале войны, когда ещё не определились ее кровавые контуры, признаюсь, я даже сознательно хотела поражения нашему оружию, чтобы этим была поколеблена и дискредитирована власть и положен конец ее вакханалии, от пьяного угара которой задыхаются 170 млн. живых человеческих личностей, — писала 26 сентября 1914 г. Н.В. Скурдина А.И. Мельникову в Одессу. — Теперь я этого не хочу, но передо мной также стоит этот мучительный вопрос: чем будет заплачено за все колоссальные материальные потери и невозвратимые утраты людьми?.. Думается, что широкое общение с Западом должно проложить новые борозды и в сознании людей, стоящих у власти, и что здоровая струя обновит и оживит загнившие части нашего государственного организма» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 978. Л. 6].

Внешние и внутренние неудачи, несмотря на цензуру, обостряли эмоции. В сентябре 1915 г. А.В. Тыркова, член ЦК кадетской партии, записывала в дневнике: «Победы и поражения отодвинулись перед... сумятицей внутреннего поражения или, вернее, разложения» [Тыркова 2012: 156]. Трудности военного времени гипертрофировались, а затем приобретали антиправительственное звучание. Разумеется, находились люди, выпадавшие из стадных эмоциональных потоков. 22 июля 1915 г. историк М.М. Богословский писал в дневнике: «Не понимаю тех, кто складывает всю вину на управление. Может быть, оно у нас и худо, но только потому, что вообще мы сами худы. Каждый народ достоин своего управления». Представление о том, что «народные избранники» могут подменить бюрократов, вызывали у него насмешку. 8 сентября 1915 г. он так комментировал разговоры о министерстве общественного доверия: «Извольте видеть: надо бороться с властью и в то же время не надо колебать престижа власти (имелся в виду А.И. Гучков — В.Б.)... У нас говорить против власти есть признак гражданских чувств...». Наивное представление интеллигенции о гражданском долге вызывало у него ядовитую иронию: «У нас гражданином считается лишь тот, кто бурлит, суетится, всячески выступает, критикует и протестует...» [Богословский 2011: 60, 75, 86]. В сущности, он описал тип российского политика, для которого важно было «возбудить» публику — естественно, против вечно «негодного» начальства.

Беспомощность власти раздражала и возбуждала главным образом правых, а вовсе не левых. Она же усиливала ксенофобию. Б. Никольский в июне 1915 г. был убеждён, что «немецкие деньги питают антинемецкие судороги низов и особенно антидинастическое озлобление», а в феврале 1916 г. считал, что «заговор не немецкий, а тот же масонски-жидовский», как в 1905 г. Впрочем, в своем обличительном пафосе он не забывал и о «безумном сборище глупых, трусливых, бездарных и ничтожных людей» в Совете министров, которые ни на что не способны, кроме «сеяния анархии» [Никольский 2015: 219, 245, 275].

Считается, что нагнетанию революционных настроений способствовали думские речи. На деле все было не столь просто. «Читал речи Милюкова и Шульгина, — писал иркутский журналист. — В этих речах как бы воплотился ужас современной русской жизни». В армии реакция оказалась несколько иной. «...Наши монархисты получили из-под полы глупую, мальчишескую речь Милюкова и носятся с нею, как кот с салом! — писал генерал А. Снесарев. — Подумаешь, невидаль какая! Я стал читать, да и дочитать не мог: такая дребедень...»

[Булдаков, Леонтьева 2015: 359]. Людей больше волновало другое. В ноябре 1916 г. в действующую армию порой сообщали следующее: «Нас здесь грабят и грабят беспощадно, безжалостно купцы, мелкие торговцы, пекаря, мясники и т. п. сволочь, именовавшая и мнившая когда-то себя патриотами, сейчас превратились все в разбойников и грабят нас среди бела дня, да ещё приговаривают, что мы де все это на законном основании». Армейские порядки тоже не радовали. Типографский рабочий С. Обрадович, оказавшись солдатом в окопах в 1916 г., писал, что здесь люди забыли про любовь и милосердие [Steinberg 1994: 225]. В декабре этого же года из одной из запасных команд писали в Самару: «2 ½ года войны, по-видимому, произвели свое действие, озлобив всех. Проснулись дикие инстинкты... Народ ли виноват в этом?.. Народ инстинктивно чувствует неладное и даёт выход своему озлоблению в бунте. Если такой порядок продлится далее, то перед нами стоит призрак революции...». Некий Горовиц в декабре 1916 г. писал в армию, что «всем надоела война» и «мы стоим на пороге великих событий» [Письма с войны 2015: 627, 721, 722]. Характерно, что люди, требовавшие кардинальных изменений, не представляли их конкретно, словно надеясь, что избавление от «царя и немцев» само по себе приведёт к решению всех насущных проблем. Нараставший протест адресовался в «никуда». В декабре 1916 г. газеты именовали на фронте «бу-мажным навозом» [Снесарев 2012: 519].

Некоторым приближающийся Новый год сулил надежды: «...В нем должна решиться во цвете его дней и наша судьба и может быть наша судьба совпадёт с судьбой всего мира». Другие солдаты в начале января были близки к панике: германец за «25 миллиардов» «склоняет» к миру, в Петрограде «не стараются спасти свою родину, а стараются спасти германский народ». Некоторые уверяли, что Германия готова к миру, чтобы платили ей «контр-буцию 24 года по 20 млн в год... а Россия чтобы говорила на немецком языке». Писали и о том, что царь на мир не соглашается, а потому нам «придётся здесь погибнуть». Говорили также, что «Мясоедовы у нас не перевелись... Везде зло, везде измена...». В середине января 1917 г. на Юго-Западном фронте солдаты отказались наступать, два батальона сдались в плен, мотивируя это тем, что офицеры «попрытались». Однако даже в середине февраля 1917 г. среди солдат (похоже, при штабе) находились и такие, что были уверены: если бы в тылу не «купчики, сахарозаводчики и проч. мародёры», то «давно были бы побиты немцы, и турки, и австрийцы» [Письма с войны. 2015: 728–731].

В тылу слухи приобретали поистине апокалипсический характер. «...Здесь идёт слух, будто будет буря, огненный дождь и землетрясение, — писала Д. Фурманову его мать. — У нас очень много приготавливаются... исповедуются и причащаются, боятся, что это уже светопреставление...». Будущий большевистский комиссар задумывался: «От куда эти нелепые, странные слухи?» Ответ напрашивался сам собой: «Настрадались, перемучились... Народная фантазия облекла эти ужасы в свою доступную, рельефную форму и поверила, приняла их как заключительный, венчающий аккорд всенародного мученья... Наши политические и экономические соображения не имеют... никакой цены» [Фурманов 2015: 272].

Так или иначе, квазирелигиозные эмоции перерабатывались в «политику», причём в политику с осязаемой «классовой» составляющей. В январе 1917 г. солдат больше всего впечатляли вовсе не антиправительственные думские речи, а газетные известия о том, что в то время, как «честный русский народ голодает», в тылу пьют шампанское, разъезжают в автомобилях, «которых не хватает армии, и кричат громко „ура“ за победу и наши „бесподобные войска“». Особенно нервировала солдат информация о связях жён-крестьянок с военнопленными [Письма с войны 2015: 601, 603, 605, 608–611, 613–616, 619–620, 624–626, 629, 633]. Но, разумеется, больше всего сказывалось недовольство армейскими порядками. «Форменный хаос, очковтирательство», начальники ведут «телефонную войну» [Снесарев 2012: 478, 510], — так характеризовал происходящее генерал А. Снесарев. В феврале 1917 г. среди от-

носителем бодрых писем с фронта встречались и такие заявления: «Нервы парализовались, омертвели. Из человека ангела здесь делают человека дьявола» [Письма с войны 2015: 6, 329]. Известия из «мирной» жизни доводили ситуацию до точки кипения. «Дороговизна и мир, вот что интересует главным образом, судя по корреспонденции, армию и население» [Тверская губерния в годы Первой мировой войны 2009: 339], — заключал местный цензор. Писали и о том, что «у человека зародилась злоба и искра злобы не угасает...» [Письма с войны 2015: 733].

«Сюрпризы» революционной повседневности

Подлинная революция словно прокатилась мимо *всех* её политических «руководителей». Бастующие рабочие, прежде всего, женщины, смогли увлечь на собой мужчин под лозунгами: «Хлеба!» и «Долой войну!». Лишь позднее, вероятно, под влиянием социалистических агитаторов появился политический лозунг «Долой самодержавие» [Первая мировая война и конец Российской империи 2014: 73–78]. В партийных верхах, особенно «прогрессистских», царила растерянность. А.В. Тыркова, женщина, имевшая репутацию «единственного мужчины в кадетском ЦК», описала в дневнике почти символическую сцену. 27 февраля 1917 г. М.В. Родзянко с А.И. Гучковым собирались отправить телеграмму царю, а графиня С.В. Панина — тоже влиятельная и красивая женщина — уговаривала их идти к солдатам, агитировать их. Лидеры октябристов отговаривались: «Пусть они сначала арестуют министров». Положение спас Милюков, который «привёл солдат к Думе» [Тыркова 2012: 176].

Расправы над офицерами и адмиралами в Кронштадте и Гельсингфорсе определялись не политикой, а ожесточением, вызванным тяготами службы [Булдаков 2010: 123–125, 226–227]. Некоторые офицеры, не понимавшие, что происходит, пассивно присоединялись к революции [Тахчогло 2015: 215, 216].

Революция вызывала совсем не те возвышенные эмоции, на которые мысленно надеялись пролетарские поэты. Возвращение политических из Сибири комментировали так: «Ораторы студенты на каждой станции выходили и вычитывали как Николай царствовал, правители его жулики были и как на позиции по морде били начальники...» [Письма с войны 2015: 748]. С этого и начиналось «политическое» просвещение народа новой властью. Воображаемое легко принималось за действительное.

Революционной эйфории на фронте предшествовало отчаяние. Даже в середине марта писали, что «надвигается голодная кровавая смерть», а потому «войны конец близко». Известие о падении самодержавия комментировали так: «Романовское гнездо разорено... Все безумно рады совершившемуся». Революцию связывали с долгожданным миром». Писали и такое: «... Чувствуешь, что свершилось то великое, что мы ждали хотим быть по образцу Франции или Америки... совершилось чудо...». Другие считали, что «напрасно Николай II думал со своей сворой, что в стране все тихо, что все революционеры переловлены... Суд народа свершился». Здесь же выражалась готовность «отдать жизнь за свободную Россию». Но уже в конце апреля писали, что офицеры «это провокаторы и контрреволюционеры... их бить надо сволочей...» [Письма с войны 2015: 735, 737–739, 745]. Под видом «политики» начались бессудные расправы.

Человек склонен верить во власть, но только в *свою* власть. «Чужая» власть ассоциируется не защитой, а с насилием. Это возбуждает особое недовольство у людей, привыкших вкладывать во власть сакральное содержание. Известному монархисту профессору Б. Никольскому события февраля 1917 г. сначала показались «бунтом черни, заставшим всех врасплох», действиями «трусливой, неорганизованной и присматривающейся к безнаказанности» толпы. Но уже 28 февраля он «утешил» себя тем, что «ликвидация династии видимо неиз-

бежна» как часть «стихийного восстания против немецкого гнёта». Действительно, многие «революционные» расправы того времени происходили под антинемецкими лозунгами. А, следовательно, «перевернулась великая страница истории... переворот совершился, династия кончена и начинается столетняя смута, — если не более, чем столетняя» [Никольский 2015: 278–280]. Эмоции контрреволюционеров иной раз наиболее убедительно указывают на необратимость революционных событий.

Революционная эйфория не могла длиться долго. «Царь отрёкся! В городе полное ликование..., — сообщали очевидцы. — Не радуйся! Россия развалится, захлебнётся в этой грязной волне разрушения, когда солдаты пойдут в фронта по домам...» [Семина 1963: 162]. Звучали скептические ноты: «Перед нами сверкает не свобода, а смерть и конец жизни», а потому «домой пойдём с оружием пока все, что полагается, не дадут». К этому времени революционная политика по-своему вошла в солдатскую жизнь. В конце марта некоторые уверяли, что «на фронте солдаты и офицеры вошли в полное единение», а в апреле 1917 г. в записках цензоров, говорилось, что «все письма полны только жалоб и описанием тех ужасов, которые творятся на фронте солдатами в отношении офицеров» [Письма с войны 2015: 740, 743, 746]. «Крестьян замучила чересполосица, интеллигенцию — платформы и позиции» [Пришвин 1990: 89], — так в начале апреля 1918 г. подытожил произошедшее М. Пришвин.

Несомненно, что толпа рождает вождей. Обычно это диссипативные личности, которые, в свою очередь, и пытались в 1917 г. выступать в качестве «медиумов класса». При этом возникла дилемма: то ли они насаждают массам некий образ мысли, то ли просто следует в фарватере настроений толп. Среди российских политиков — от либералов до социалистов — было немало выдающихся ораторов, но они один за другим сходили со сцены, будучи своего рода заложниками тех или иных политических императивов. Несомненно, А.Ф. Керенский сделал политическую карьеру за счёт публичной риторики. Р. Локкарт, английский консул в Москве, свидетельствовал, что после выступлений Керенского экзальтированные дамы начинали бросать на сцену драгоценности. Но он же отмечал, что речь Керенского продолжалась два часа, а эффект от нее держался два дня [Локкарт 2016: 188]. Этого было мало. Со временем его речи превратились, по выражению Л.Д. Троцкого «толчением воды в ступе». Очевидно, выступления ораторов 1917 г. должны были ориентироваться не только на настроение, но и на более глубоко заложенные утопии масс. Но, главное, они должны были резонировать с общественным озлоблением. При этом не следовало уговаривать ждать: куда эффективнее был призыв к действию.

Троцкий описывал это так: «Марксизм считает себя сознательным выражением бессознательного процесса... Высшее теоретическое сознание эпохи сливается... с непосредственным действием наиболее... удалённых от теории угнетённых масс. Творческое соединение сознания с бессознательным есть то, что называют обычно вдохновением. Революция есть неистовое вдохновение истории» [Троцкий 1991: 284, 323]. Большевицкие доктринёры ухитрялись превращаться в оракулов, действующих по инстинкту. «Большевицкие речи оказались настолько завораживающими, что обаянию их поддался и министр земледелия Чернов, который... предлагал не слушать крикунов в штатских пиджаках, призывающих к наступлению» [Добронравов 1917: 6], — признавала антибольшевицкая газета. Как знать, возможно, именно слияние человеческих склонностей с энергетикой революционного времени и придавало движению бессознательных толп всеокрушающую силу — важно было лишь дожждаться своего часа.

А в начале апреля 1917 г. правоэкстремистская газета «Гроза», основываясь на настроениях народа, заявила о необходимости начать переговоры о сепаратном мире [Гроза 1917. 2 апр.]. В сущности В.И. Ленин в своих «Апрельских тезисах» воспроизвёл не только предложения анархистов, но и правых экстремистов. А те и другие представляли собой наиболее

взвинченную часть общества. Однако Ленин подчёркивал: «Мы должны базироваться только на сознательности масс». Было ли это самообманом? Судя по всему, «сознательность масс» он понимал своеобразно, заявляя о готовности дожидаться избавления их от иллюзий «революционного оборончества». В общем, это был скорее расчёт на перемену вектора общенародных устремлений, нежели «просвещение социализмом» [Ленин Т. 31. 105].

Для утверждения в сознании людей известного рода «истин» требуется их навязчивое повторение с использованием соответствующих метафор. В тогдашней обстановке наиболее эмоциональные ораторы, вольно или невольно, копировали друг друга. Свои подражатели находились и у Керенского, и у Ленина. Описаны, к примеру, такие случаи: «...Выскочил на эстраду молодой парень и сразу обрушился на «кровопийц»-помещиков, которые задыхаются от своих богатств, высасывают последние соки у своих крестьян...». И, конечно, закончил призывом «не теряя времени уничтожить этих тиранов, а земли их делить между собой» [Сливинская 2013: 76]. В общем, это был парафраз знаменитого ленинского: «Грабь награбленное!».

На этом фоне противники большевиков смотрелись неубедительно. А. Тыркова писала: «Генералы у нас есть, а армии нет. У левых армия огромная, но нет ума в центре». Она же подметила, что кадетские «генералы», оказавшись во власти, ощущали себя неуверенно. В начале апреля Милюков пригласил товарищей по партии в министерские апартаменты. И тут они почувствовали себя так, словно «по ошибке попали в ненадлежащее место» и «невольно спрашивали друг друга — надолго ли это?» [Тыркова 2012: 178, 181] Образованные существа, вышедшие из авторитарной «стабильности», попросту не умели действовать в условиях революции.

Всё это в полной мере проявилось во время Апрельского кризиса. Тезисы, предложенные Лениным своим, размягчившимся после Февраля, соратникам, были просты: никаких уступок «революционному оборончеству»; Временное правительство должно отказаться от завоевательных планов. Ленин был недоволен и лидерами существующих Советов — их следовало заменить «настоящими» революционерами. «Буржуазному» парламентаризму не должно быть места в новой России — его должна сменить «более высокая» форма демократии в лице «Республики Советов, рабочих, батрацких, крестьянских и солдатских депутатов». Ленин предлагал также централизацию банковского дела и постепенный переход к «общественному» контролю над производством и распределением продуктов.

Именно так он понимал «шаги к социализму». Его давний оппонент П. Милюков смотрел на происходящее иначе. 18 апреля он заверил засомневавшихся послов союзных держав, что Временное правительство в полном согласии с ними продолжит войну до победы. Последующие события представляли собой характерное для революции соединение провокации и анархии, утопии и психоза. Социалисты готовы были проглотить «буржуазную» пилюлю, но кадетский ЦК призвал граждан выйти на улицы 20 апреля для поддержки правительства. В тот же день солдаты заговорили, что милюковская нота «оказывает дружескую услугу не только империалистам стран Согласия, но и правительствам Германии и Австрии, помогая им душить развивающуюся борьбу немецкого пролетариата за мир...» [Революционное движение в апреле 1917. 1958: 728]. Пронёсся слух, что идёт распродажа «земель, леса и недр иностранным и своим капиталистам». «Милюков заварил такую кашу, которую ни ему, ни всему правительству не расхлебать...», — констатировали интеллигентные наблюдатели [Окунев 1990: 35]. Солдаты потребовали отставки Милюкова и Гучкова и обещали прийти на помощь Совету с оружием в руках. Последовало хождение раздражённых толп к Мариинскому дворцу — резиденции правительства. Демонстрации шли в разнобой, агитаторы действовали с переменным успехом. Но страсти накалялись: появились плакаты «Долой Временное правительство!». 21 апреля на улицы столицы с требованиями мира вышло до 100 тысяч ра-

бочих и солдат. Большевики утверждали, что около 3 часов дня на углу Невского проспекта и Екатерининского канала по толпе рабочих начали стрельбу гражданские лица, переодетые солдатами. Результат — трое убитых, двое раненых.

Между тем, газеты приводили весьма своеобразные картины происходившего. 21 апреля на Невском появился автомобиль, на крыше которого стоял офицер с портретом Керенского и вопрошал, обращаясь к толпе: «Верите ли вы Керенскому или не верите?» Его поддержали солдаты-инвалиды, кричавшие: «Долой ленинцев!» Говорили также, что в 12 часов ночи на улице появилось знамя с надписью: «Да здравствует Германия!» [Романов 2008: 276, 274]

Казалось, было о чем задуматься. Но 27 апреля премьер Г.Е. Львов произнёс следующую речь: «Великая русская революция поистине чудесна в своем величавом спокойном шествии... Свобода русской революции проникнута элементами мирового, вселенского характера... Душа русского народа оказалась мировой демократической душой... Она готова слиться не только с демократией всего мира, но и встать впереди нее и вести ее по пути развития человечества на великих началах свободы, равенства, братства». Не удивительно, что слова «буржуазного» политика вызвали восторг социалиста-идеалиста Церетели [Миллюков 2001: 595]. Новые российские верхи оказались во власти новых (старых по идеократическим параметрам) этатистски-утопических самообольщений.

Между тем, революция отбрасывала старые нравственные барьеры. А.П. Будберг, один из честных и потому пессимистичных «старорежимных» генералов, был шокирован тем, что Брусилов, человек «из недавних царских берейторов»⁵, выступая на одном из армейских съездов, показал себя «очень ловким и хорошим оратором и вызвал бурю восторга своей речью, в которой очень рельефно подчеркнул свою приверженность идее мира без аннексий и контрибуций». Впрочем, вслед за тем Брусилов «очень умело перешёл к необходимости все же продолжить войну до победного „конца“ или до тех пор, пока сам немецкий народ не сбросит с себя императорское иго...». Трудно сказать, искренне говорил Брусилов, или «хитрил» (что за ним водилось), но «к заключительному аккорду своей речи он выхватил откуда-то красный флаг, которым и стал яростно крутить в воздухе...». По словам Будберга, «собрание превратилось в сплошной бедлам; слушатели... визжали, ревели и вопили что-то совсем несурзное...». На человека, «скованного» прежними понятиями о чести, «вид недавнего генерал-адъютанта, размахивающего красным флагом и недопустимо подлаживающегося под инстинкты толпы, произвёл... оглушительное впечатление» и заставил в полном смысле бежать, забыв о необходимости считаться с «больной психологией и послереволюционным настроением солдатских масс...» [Будберг 2014: 206].

Увы, с психологией масс считались обычно люди авантюристичного склада, а не доктринёрствующие политики. В постсоветское время историки с восторгом занялись историей российской многопартийности. Между тем, этот феномен следовало бы рассматривать не в политическом, а культурном дискурсе [Булдаков 2016: 100–114]. Многопартийность 1917 г. до известной степени отвечала послефевральскому всплеску народной смеховой культуры. Но в дальнейшем, особенно в связи с неспособностью демократии «накормить народ», она — в лице «правящих» партий — стала смотреться как нечто неуместное. Отсюда неуклонное дробление многопартийности, стремление проводить правую политику под левыми лозунгами. В известном смысле это было продолжением «псевдоморфности» российского исторического развития, связанного со стремлением верхов соответствовать европейским стандартам, с одной стороны, упорным отстаиванием традиционалистскими массами привычный тип политической культуры [Королев 2009: 72–85].

⁵ Карьеризм А.А. Брусилова и склонность его к интригам отмечали многие [Нелипович 2006: 7; Грондайс 2016: 31; Барятинская 2006: 287–288].

Современники не раз писали об «властебоязни» российских политиков, превратившихся с победой революции в «партию ИИ» — «испуганных интеллигентов» [Булдаков, Леонтьева 2015: 566]. Очевидно, это происходило от непривычки действовать самостоятельно, выработанной российским патернализмом. Характерно, что даже левые партии по мере ими же провоцируемого «углубления революции» чувствовали себя все менее уверенно. А. Тыркова отмечала, что к началу открытия Учредительного собрания эсеры «раскисли, теряют почву, в своих декларациях повторяют слова большевиков». «Кому из них хотеть победы?» — задавалась она риторическим вопросом [Тыркова 2012: 212]. «Политики» этого склада по-прежнему легче чувствовали себя в роли жертвы. Возможно, это было главной психологической особенностью российской политики, неожиданно высвободившейся от царской «опеки».

Интересно, как правоэкстремистская «Гроза» интерпретировала солдатские настроения: «Сами министры под обстрелом не находятся и потому им посылать людей на бойню легко; ответа же за напрасно погибший народ перед Богом, как имел его Царь, они не несут; и потому им решительно все равно, сколько бы русского народа ни было бы перебито...» [Гроза. 1917. 7 мая]. В общем, газета упорно противопоставляла устремления масс политике Временного правительства. В этом она действовала синхронно с ленинской «Правдой», опубликовавшей проект устава Красной гвардии, предусматривавший «временное» вооружение рабочих для борьбы с погромами, контрреволюцией и т. п. [Правда. 1917. 29 апр.]

«Гроза» ставила большевикам в заслугу то, что они «объединили вокруг себя все полки, отказавшиеся подчиниться правительству из жидов-банкиров, генералов-изменников, помещиков-предателей и купцов-грабителей» [Гроза. 1917. 29 окт.]. С точки зрения тогдашнего интернационализма, это был более чем сомнительный комплимент. Однако, апеллируя к «сознательности», большевики пришли к власти, опираясь на толпы, возбуждённые *иррациональной* ненавистью. В те времена «просвещённые» умы подобных парадоксов не понимали; некоторые не понимают и сегодня.

Несомненно, в психике народы был по-своему силен эгалитаристский компонент, точнее, его уравнивательная тенденция. Подчас она приобретала агрессивно-мстительные формы. Так, 4 июля 1917 г. на одном из дивизионных митингов на Северном фронте солдаты (вроде бы, независимо от сходных событий в столице) отказались идти в наступление, мотивируя это тем, что их дивизия, в отличие от других, трижды участвовала в тяжёлых боях. Недовольство обернулось против «своих» генералов: поступили предложения определить их в обозные, в кашевары, послать на конюшню, казнить, «отвинтить головы». Кончилось тем, что им запретили пользоваться автомобилем, вынудив идти пешком под крики разнuzданной толпы. Автомобиль, естественно, оседлали солдаты, на котором «понеслись вперёд» [Милоданович 2015: 90–91]. Невольно вспоминается мечта деревенских мужиков «покататься на барских тройках»,

После июльских событий солдаты рассуждали так: «Мы отказались от завоевания, от захвата и аннексии, контрибуции. Зачем же нам наступать...». Другие писали: «У нас происходит какой-то хаос, большевики свое тянут, меньшевики свое тянут, а на фронте нет ни одного такого человека, который рассказал народу, что обозначают эти два элемента». Обилие разных партий вызывало крайнее недоумение [Письма с войны 2015: 749]. «В комитеты мы не верим. И даже в Учредительное собрание не верим», — констатировал 22 июля М. Пришвин. А 1 августа он многозначительно (как может задним числом показаться) добавлял: «Государство есть организация силы» [Пришвин 1990: 82]. Но эта сила питается не столько оружием, сколько духом народа.

С социологической точки зрения сфера духовного — любимая среда поэтов и писателей — словно отсутствует. Удивляться не приходится: все, что относится к области «бессознательного» и «подсознательного», позитивистскими методами объяснить невозможно. «На-

стоящая» история — это история потаённых психоментальных структур, которые «неожиданно» могут проявить себя в эмоциональных массовых действиях. Увы, даже люди, вовлечённые в них, склонны к «рационалистическому» толкованию былого «безумия».

Большевизм или социальное неистовство?

Победа большевиков в известном смысле была победой силы и страсти над интеллигентским теоретизированием. Настал момент, когда все решается «не совещаниями, не съездами», — убеждал В.И. Ленин. «Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало!», — заклинал он вечером 24 октября 1917 г. [Ленин Т. 34: 436]

К тому моменту колебалось не только правительство. Колебались все. «Во всем Петрограде невозможно было найти ни одного сколь-нибудь спокойного и уравновешенного человека» [Драшусов 2015: 272], — уверяли некоторые наблюдатели событий.

Перед Октябрём М. Пришвин, походив по столичным «общественным говорильням», по его словам, «забился в смертельной тоске». «Нет, не теми словами говорим мы и пишем, друзья, товарищи и господа мира сего, — отмечал он в дневнике. — Наши слова мёртвые камни и песок, поднятые вихрем враждебных, столкнувшихся сил» [Пришвин 1990: 86]. Так и было. Революция рождает яркие образы и впечатляющие метафоры — надо было уметь этим воспользоваться.

Революция нуждалась в поэтах. Они обогащали идею эмоциями, которые, в свою очередь, способны были «возвысить» протестный и даже преступный замысел. Все вместе это было частью процесса «материализации» утопии.

Несомненно, что большевики обеспечили себе победу с помощью двух лозунгов: «Мир!» и «Земля!». Это были скорее метафоры, нежели доктрины. Но большего, в сущности, не понадобилось, ибо оба они отвечали агрессивному настрою толп. Однако, самое поразительное, что на второй день работы II Всероссийского съезда Советов, когда Временное правительство частично оказалось в Петропавловской крепости, частично «в изгнании», делегаты практически единогласно простым поднятием рук, как на митинге, готовы были проголосовать за все подряд. Д. Рид писал, что когда один из делегатов робко попытался поднять руку против Декрета о земле, «вокруг него раздался такой взрыв негодования, что он поспешно опустил руку...» [Рид 1987: 152]. Действовала магия коллективного мнения. Голосовали «скопом», причём даже вопреки наказаниям избирателей. Как ни парадоксально, лишь 75 % формальных сторонников Ленина, присутствовавших на съезде, поддержали лозунг «Вся власть Советам!», 13 % большевиков устраивал девиз «Вся власть демократии!», а 9 % даже считали, что власть должна быть коалиционной [Второй Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов 1928: 107]. Парадоксально, но эти странности «общенародной поддержки» большевизма не замечались десятилетиями.

А. Рабинович считает, что феноменальные успехи большевиков в значительной степени проистекали из характера партии: ее «сравнительно демократической, толерантной и децентрализованной структуры» и «открытого и массового характера» [Рабинович 1989: 331]. Вероятно, к этому следовало бы добавить, что большевики воспользовались самыми сильными средствами того времени — разрушительными инстинктами и утопическими вождельными вооружённых толп.

Победа большевиков ещё больше накалила страсти. В ноябре 1917 г. в армии кое-кто готов был «перерезать высший командный состав». Другие возмущались «буржуазией», которая иной раз ассоциировалась с негодными офицерами. У солдат укрепилась убеждённость в предательстве своих командиров, которые «хотели пустить немца, чтобы он подавил нашу революцию». Впрочем, возможно это были лишь тогдашние «фигуры речи». Кое-кто писал так:

«...Настроение в армии скверное, одним словом, наверно, погибла свободная страна». Этот человек подумывал о том, чтобы «записаться в батальон смерти». В другом письме, также написанном в середине ноября, звучало тотальное озлобление: «Буржуи грызутся там, как волки... Мы их поборем... Пусть не забудут ночь Варфоломея во Франции... Война это ничто иное, как истребление народа... Зачем нам Дарданеллы, на что нам английский капитализм...». Для того, чтобы прекратить «свою» войну, этот человек готов был перевернуть весь свет [Письма с войны 2015: 750–752].

Ещё выше поднялась волна самосудных действий. «Справедливость» восстанавливалась первобытными способами. Как обычно, расправлялись не только с «провинившимися», но и «подозреваемыми». Иногда миловали, но чаще наказывали «заодно». Большевистского влияния в этом не просматривается. Зато заметно другое.

Примечательное описание разгрома помещичьей усадьбы приводилось в одной из провинциальных российских газет. «Грабили добродушно, на удивление именно добродушно. Радовались как дети, когда огонь охватил мезонин, — свидетельствовал очевидец. — Заливались смехом, когда мои племенные свиньи подняли невообразимый гвалт...». Правда, «толпа была до слез разочарована, когда в подвале не оказалось ни одной бутылки вина...». Похоже, погром имел свою «философию». «Побарствовавали и буде, — сообщил один незлобивога вида мужичок, — теперь и мы у праздника». Интеллигенту осталось лишь констатировать, что «психология погромного движения не укладывается в рамки логики...» [Девяткин 1918: 4]. Разумеется, не все сельские погромы носили столь «благодушный» характер. Но все же расправы по-русски не шли ни в какое сравнение с садистским озверением толп во времена Великой французской революции. Дело в том, что крестьянское насилие все до определённой степени лимитировалось достаточно устойчивыми общинными регламентациями. Напротив, толпы французских маргиналов распались до коллективного изуверства [Кабанес, Насс 1998: 280–311]. Но исследователь не имеет права отворачиваться от жутких страниц прошлого. «Зло мира» может быть таким же ключом к пониманию истории революции, как бесконечная вера людей в добро.

После Октября наблюдателям со стороны казалось, что большевистское правительство «спустило с цепи грубую силу России». Теперь «все проблемы создавал алчущий зверь», который «грабил бесшабашно и основательно, в то время как правительство отчаянно пыталось навести порядок» [Доти 2015: 171]. «Красная смута» приближалась к своему логическому завершению: теперь требовалось обуздание «зверя». Но это последовало намного позже.

Разгон Учредительного собрания вызвал настоящий прилив злорадства у противников умеренных социалистов: «Воистину, эти ничтожества (эсеры — *В.Б.*) во главе с Витей (*В.М. Черновым* — *В.Б.*) стоили лишь хорошего пинка матросского копыта... Эта позорная трусость с.-р., это из кожи вон старание показать, что мы, мол, тоже революционеры (ведь они, сукины дети, стоя пели „Интернационал“!)... Но подлее всего, конечно, отношение к демонстрации: уже тогда партия „бомбы и револьвера“ во внезапном припадке „непротивления злу“ решила организовать безоружную демонстрацию... гг. лидеры и „избранники народа“ во главе с Витей обошли опасное место стороной, в демонстрации не участвовали и явились в Таврический дворец другим путём». При этом подходя к зданию дворца, Чернов «сиял, как солнце» и лишь услышав пулемётные выстрелы, остановился, поднял руку и вскричал: «Что они делают!», чтобы тут же скрыться за дверью [Минувшее Т. 20: 503]. Правые давно ненавидели слабость во власти, а потому их не могло не обрадовать проявление силы — пусть со стороны большевиков.

Российская история не экзотична, а архаична: в ней обнаруживается то, о чем на Западе уже забыли. Некоторым не хотелось признавать это в 1917 г., есть и такие, кто в упор не видит этого и сегодня.

Б. Никольский не случайно попытался описать основы «эмоциологического» восприятия происходящего. «Что такое галлюцинация? — задавался он характерным вопросом. — Безвольная рефлекторная игра воображения... Воображение есть способность вспоминать и комбинировать свои представления... Но вот иногда воля ослабевает, ...органы внешних чувств испытывают как бы судороги... В таких случаях начинается галлюцинация... Словом, это судороги воображения». Разумеется, сам Никольский ни минуты не допускал, что его восприятие действительности также подвержено «судорогам воображения». Так мог думать человек, истово верящий в непреложность удобных для него «законов» бытия. Впрочем, и его вера подвергалась испытаниям. «Война идёт своим чередом, загадочная для нас, не посвящённым в планы и сведения власть имущих... Но что нас ожидает? — вопрошал он 6 января 1915 г. — Перед нами невероятные дали и полное отсутствие людей. Боже, какие вокруг ничтожества, и всего более в отношении характера, инициативы и творчества! Сознаешь их полное бессилие, близорукость, беспомощность и бездарность, сознаешь, что момент и все... совершится стихийно, само собою, как во сне... Одно утешение в том, что все, кто может повредить, ещё бездарней, беспомощней и бессильнее» [Никольский 2015: 207, 210]. Именно в таком положении оказались и те, кто «бессильно» ожидал прихода революции, и те, кто «бездарно» попытался воспользоваться ее плодами.

В сущности Б. Никольский представил типичное отношение к власти людей творческих профессий. Всякая «нормальная» власть обязана не только создавать для них нормальные условия для работы, не только быть «справедливой» соответственно их нравственным и даже эстетическим запросам. По этим причинам Никольский мог, с одной стороны, презирать Николая II, с другой стороны, «одобрять» большевиков за то, что они раздавили «либеральную слякоть». И это специфическое отношение к власти — скорее эмоциональное, нежели политическое — сохраняется и поныне.

Как пробраться в прошлое?

Нет ничего удивительного в том, что в 1917 г. общественное недовольство буквально смыло слабую патерналистскую власть. Отсюда и странноватое представление о «бескровной революции» (возможно, оно было связано с тем, что насилия Февраля оказались бледной тенью садистских бесчинств Великой Французской революции [Кабанес, Насс 1998: 267–378]). Напротив, жертвенная пассивность интеллигенции привела к тому, что последователям Ленина удалось укрепиться во власти.

Российская «политика» 1917 г. захлёстывалась противоречивыми страстями. Происхождение их становится понятным лишь со временем. Некогда Ленин находил основное противоречие России в сочетании «самого передового» финансового капитала с «самой дикой» деревней. На деле ситуацию определяло другое противоречие: между «самой передовой» утопией и «самой косной» традицией. В этом социокультурном пространстве не было места для «правильной» политики — той самой, к внедрению которой безнадежно устремились европеизированные либералы и социалисты. Победила та квази/партия, которая сделала ставку на страсть отрицания навязываемой народу квази/западной политики. Впрочем, это была вовсе не партия в европейском смысле слова — это был генератор традиционного российского бунтарства.

Конечно, из «мирной» современности хочется интерпретировать революцию либо в оптимистических тонах, либо в дискурсе психопатологии. Один из современных западных авторов предлагает анализировать связь событий революции и поведенческих девиаций в двойной ретроспективе. С одной стороны, революция может рассматриваться в контексте травмирующих экспериментов власти, которые провоцируют экстраординарные формы поведения

населения. С другой стороны, люди, участвующие в революции, могут быть представлены жертвами возмущённой социальной среды или унаследованной аморальности и психического нездоровья [Miller 2007: 105]. Слов нет, любая революция представит предостаточно материала на этот счёт. Однако авторитарно-патерналистские системы порождают скорее жертв, чем природных насильников. Во всяком случае, победившие лидеры революции порой кажутся достаточно рассудительными и вовсе не столь фанатичными людьми.

Примечательно, что кое-кого в Ленине изумляла «потрясающая сила воли, непреклонная решимость и полное отсутствие эмоций». Напротив, в эмоциональном плане Троцкий казался его полной противоположностью. «Троцкий был весь темперамент — индивидуалист и художник..., — так передавал свои впечатления от встречи с двумя «вождями» революции Р. Локкарт. — Ленин был безличен и почти бесчеловечен. Его тщеславие не поддавалось лести. Единственное, к чему можно было в нем апеллировать, был сардонистический юмор, высоко развитый у него...» [Локкарт 2016: 249–250]. Создавалось впечатление, что в революции побеждала отлитая в бессердечие ненависть к старому строю.

Советская историография поначалу также была избыточно эмоциональной, ибо ей пришлось существовать в качестве «медиума» марксистской догмы, сотрясаемой текущей политикой. Потом революцию принялись описывать, «вдохновившись» сталинским «Кратким курсом» с его впечатляющими проклятиями в адрес «врагов народа». Наконец наступило время, когда затасканный миф стал раскрашиваться в цвета несуществующей «ленинской концепции». Такова приблизительная периодизация историографии «Великой Октябрьской социалистической революции».

Мифы революции имеют обыкновение порождать настолько яркие символы, что даже профессиональные историки вынуждены работать в порождённых ими дискурсах. Положение может измениться только с истощением мифов. А это зависит от количества обществоведов, склонных сознательно или бессознательно придерживаться навязанного ими дискурса. И тогда может оказаться, что выбраться из привычной марксистской колеи не помогают даже антикоммунистические эмоции.

Показательно, что в постсоветский период приверженцы «политической» истории России принялись усердно разыскивать наиболее созвучных переживаемому времени анти/героев революции. Двинулись слева направо: «хорошие» большевики, затем «демократичные» меньшевики, эсеры и кадеты, наконец, «мудрые» консерваторы. Все это нельзя назвать иначе как знаками историографического бессилия. Отсюда и современные представления об «управляемом хаосе», согласно которым всякую революцию можно вызвать искусственно и навязать ей какие угодно политические «цвета». На деле претензии современных пиарщиков на роль теоретиков революции стоят не больше, чем былое стремление А.Ф. Керенского управлять массами «сверху» с помощью впечатляющих слов. Революцию нельзя запланировать в кабинете и руководить ею с трибуны или с экрана телевизора.

Тем не менее, всё ещё существуют учёные мужи, которых невозможно убедить в том, что история развивается отнюдь не по восходящей экспоненте, построенной на основании бюрократической цифири. Не стоит тешить себя иллюзиями о том, что от традиции к Модерну можно проехать как по Невскому проспекту. Так было принято думать перед революцией, а затем в советское время. Результат подобного образа мысли известен.

Появление в наши дни всевозможных конспирологических домыслов — вплоть до вычерчивания разветвлённого заговора, нити которого сходились к А.И. Гучкову [Козодой 2015], явление не случайное. Как отмечал в свое время А. Панарин, «прогрессистская концепция ориентируется на линейно-восходящее развитие; поэтому перерывы и откаты в истории она вынуждена либо списывать на случай, не затрагивающий логику истории, либо ссылаться на вмешательство злокозненных реакционных сил» [Панарин 2014: 77]. Последнему

также помогают эмоции. И не только со стороны природных доктринёров, упорно «спрямляющих» системные взаимозависимости до простейших причинно-следственных связей, но и, особенно, со стороны не вполне уравновешенных «медийных» людей.

Революцию можно представить по-разному. Некоторые авторы объясняют послефевральскую психоментальную ситуацию так: «...Перепрыгнув сразу через несколько технологических фаз, общество проваливается в глубокую пропасть между „технологией“ и „психологией“, вследствие чего события развиваются форсировано...» [Назаретян 2012: 60]. Сформулировано социологически политкорректно, но со знанием дела. Российское большинство *психологически* не было готово к Модерну. Большевизм «побеждал» поверхностную его элитарную культуру за счёт растущего безразличия к ней населения. А затем традиционалистское большинство по-пугачевски расправилось со всей старой культурой как с «подменённой» реальностью.

В связи с этим примечательно то, что на протяжении 1917 г. в России менялось отношение к столице — Петрограду. В том, что самые разные люди готовы были считать «Петра творенье» гиблым местом, погубившим всю Россию, есть определённая символика, связанная с русским Модерном. И стоит в связи с этим вспомнить, что уже в романе Андрея Белого Петербург предстаёт *разлагающимся* городом. Но это было лишь одной стороной его культурогенного облика: внутри видимого распада таились дикие побегии новой культуры.

История бесконечна, при этом она, так или иначе, революционна. Революционность, однако, содержит в себе столь же вечный вирус контрреволюции. Революции обречены на крах, потому что «их будущее есть то прошлое, в которое обществу приходится возвращаться в жажде самосохранения» [Смирнов 2016: 74], — заметил один весьма проницательный автор. В России это отчётливо обнаружилось во времена нэпа [Булдаков 2012].

Человек призван заблуждаться, а затем предаваться эмоциям, которые и выносят его на интеллектуальную «твердь» традиции. Как бы то ни было, ни просвещенческая «самонадеянность разума», ни постмодернистское уныние, ни либертарианская беззаботность, ни даже притворное интеллектуальное смирение перед «неведомым» никогда не переселят веру человека в возможность «лучшего мира» и надежды на построение рая на земле. Людские эмоции и страсти никогда не сдадут своих позиций. И проще и полезнее научиться считаться с ними, нежели загонять их в клетку бюрократических представлений о «прогессе» и «культуре».

Власть, которая берётся самонадеянно руководить всем и вся, несёт главную ответственность за то, что люди, призванные *suī generis* создавать ценности и смыслы, оказываются не у дел. Им не остаётся ничего иного, как взвинчивать себя утопиями и отчаянно взламывать препоны, поставленные бюрократами. И тогда случается то, что случилось в 1917 г.: Россия разорвалась между традицией и Модерном.

Белый А. 1990. *Начало века*. — М.

Барятинская М. 2006. *Моя русская жизнь. Воспоминания великосветской дамы. 1870–1918*. — М.

Бердяев Н.А. 1990. *Судьба России*. — М.

Беркевич А.Б. 1947. Крестьянство и всеобщая мобилизация в июле 1914 г. — *Исторические записки*. — Т. 23.

Блок А.А. 1962. «Без божества, без вдохновенья». — Блок А.А. *Собр. Соч.* — М.; Л., Т. 6.

Булдаков В.П. 2010. *Красная смута. Природа и последствия революционного насилия*. — М.

Булдаков В.П. 2000. Модернизация, традиция и агрессия в русской революции: провинциальный аспект. — *Studia Slavica Finlandensia. Modernisation in the Russian Provinces. Tomus XVII.* — Helsinki.

Булдаков В.П. 2013. Поэтические завихрения «Красной смуты», 1917–1920. — *Историк и Художник. Сборник воспоминаний и статей памяти профессора Сергея Сергеевича Секиринского.* — М.

Булдаков В.П. 2009. Революция как проблема российской истории. — *Вопросы философии.* — № 1.

Булдаков В.П. 2016. Российская многопартийность: иллюзии прошлого, химеры современности. — *Полис. Политические исследования.* — № 4.

Булдаков В.П. 2001. Российские смуты и кризисы: востребованность социальной и правовой антропологии. — *Россия и современный мир.* — № 2(31).

Булдаков В.П. 2014. Россия, 1914–1918 гг.: война, эмоции, революция. — *Россия в годы Первой мировой войны, 1914–1918.* — М.

Булдаков В.П. 2012. *Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия, 1920–1930 гг.* — М.

Булдаков В.П. 2007. *Quo vadis? Кризисы в России: пути переосмысления.* — М.

Булдаков В.П. 2004. Феномен революционной этнофобии. — *Проблемы этнофобии в контексте исследования массового сознания.* — М.

Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. 2015. *Война, породившая революцию.* — М.

Богословский М.М. 2011. *Дневники (1913–1919): Из собрания Государственного исторического музея.* — М.

Борщук Е.Д. 2013. *Эволюция патриотических настроений в России в годы Первой мировой войны (на материалах Петрограда).* — СПб.

Будберг А.П. 2014. *Военный альбом генерала А.П. Будберга. Материалы к биографии. Воспоминания о войне. 1914–1917.* — М.

Виноградов П.Г. 2010. *Избранные труды.* — М.

Второй Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов. 1928. — М., Л.

ГА РФ (Государственный архив Российской Федерации)

Геллер Л., Нике М. 2003. *Утопия в России.* — СПб.

Гобсон Дж. 2009. *Империализм.* — М.

Государственная дума. 1914. Четвёртый созыв. Стенографические отчёты. Сессия II. Часть IV. — СПб.

Грондайс Л. 2016. «Он был возведён в ранг великих стратегов». — *Историк.* — № 5 (17).

Девяткин И. 1918. Письма оптимиста. — *Воронежский телеграф.* — 1 января.

Добронравов Л. 1917. Тёмная история. — *Без лишних слов. Еженедельный журнал политики, литературы и общественной сатиры.* — № 1. — 11 июля.

Достоевский Ф.М. 1983. *Полн. собр. соч. в 30 т.* — Т. 25. Дневник писателя за 1877 год. Январь–август. — Л.

Доти М. 2015. «У меня было ощущение перевернутого шиворот-навыворот мира...»: воспоминания Мадлен Доти. — *Россия 1917 года в эго-документах. Воспоминания.* — М.

Доусон К.Г. 2002. *Боги революции.* — СПб.

Драшусов Е.Е. 2015. «Все кончено и никакие компромиссы уже невозможны...»: из воспоминаний Е.Е. Драшусова. — *Россия 1917 года в эго-документах. Воспоминания.* — М.

Дымов О. 2014. *От Айседоры Дункан до Федора Шаляпина. Вспомнилось, захотелось рассказать...* — М.

- Залевски М. 2008. Немецкое общество и начало Первой мировой войны. — *Война и общество в XX веке: В 3 кн. Кн. 1. Война и общество накануне и в период Первой мировой войны.* — М.
- Кабанес О., Насс Л. 1998. *Революционный невроз.* — М.
- Козлов Д. 2016. «Клином красным бей белых». *Геометрическая символика в искусстве авангарда.* — СПб.
- Козодой В.И. 2015. *Александр Иванович Гучков и Великая русская революция.* — Новосибирск.
- Королев С.А. 1997. *Бесконечное пространство. Гео- и социографические образы власти в России.* — М.,
- Королев С.А. 2009. Псевдоморфоза как тип развития: случай России. — *Философия и культура.* — № 6.
- Концепт «революция» в современном политическом дискурсе.* 2008. — СПб.
- Крусанов А.В. 2010. *Русский авангард. 1907–1932. Исторический обзор. В 3 т. Т. 1. Боевое десятилетие. Кн. 2.* — М.
- Лакиер Е.И. 2013. Отрывки из дневника — 1917–1920. — «Претерпевший до конца спасён будет»: женские исповедальные тексты о революции и гражданской войне в России. — СПб.
- Ленин В.И. *Полн. собр. соч. Т. 21, 26, 31, 34.* — М.
- Литературные манифесты.* 1930. — М.
- Локкарт Р. 2016. *Агония Российской империи. Воспоминания офицера британской разведки.* — М.
- Манифесты итальянского футуризма. 1914. Собрание манифестов Маринетти, Боччони, Кара, Руссоло, Балла, Северини, Прателла, Валентина де Сен-Пуан.* — М.
- Милоданович Е.А. 2015. «До чего мы докатились...»: воспоминания Е.А. Милодановича. — *Россия 1917 года в эго-документах. Воспоминания.* — М.
- Мельгунов С.П. 1979. *На путях к дворцовому перевороту.* — Париж.
- Милюков П.Н. 2001. *Воспоминания.* — М.
- Миронов В.В. 2011. *Австро-Венгерская армия в Первой мировой войне: разрушение оплота Габсбургской монархии.* — Тамбов.
- Москович С. 1996. *Век толп. Исторический трактат по психологии масс.* — М.
- Назаретян А.П. 2012. *Антропология насилия и культура самоорганизации. Очерки эволюционно-исторической психологии. Изд. 3.* — М.
- Нелипович С.Г. 2006. *Брусилловский прорыв. Наступление Юго-Западного фронта в кампанию 1916.* — М.
- Никольский Б.В. 2015. *Дневник. 1896–1918. Т. 2. 1904–1918.* — СПб.
- Никонов В.А. 2011. *Крушение России. 1917.* — М.
- Окунев Н.П. 1990. *Дневник москвича (1917–1924). Т. 1.* — М.
- От символизма до «Октября».* 1924. Сост. Н.Л. Бродский и Н.П. Сидоров. — М.
- Панарин А.С. 2014. *Российская интеллигенция в мировых войнах и революциях XX века.* — М.
- Первая мировая война и конец Российской империи. В 3-х тт. Февральская революция. Том. 3.* — СПб.
- Первая мировая война на почтовых открытках. 2014. Под ред. В. Крепостнова и А. Мядякова. Книга 1. От Сараево до Компьяна.* — Киров / Вятка.
- Письма с войны 1914–1917.* 2015. — М.
- Плампер Я. 2010. Эмоции в русской истории. — *Российская империя чувств. Подходы к культурной истории эмоций. Под. ред. Я. Плампера, Ш. Шахадад и М. Эли.* — М.

- Полонский В. 1925. *Русский революционный плакат*. — М.
- Посадский А.В. 2002. *Крестьянство во всеобщей мобилизации армии и флота 1914 года (по материалам Саратовской губернии)*. — Саратов.
- Пришвин М.М. 1990. *Дневники*. — М.
- Рабинович А. 1989. *Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде*. — М.
- Революционное движение в апреле 1917 г. 1958. Апрельский кризис*. — М.
- Рид Д. 1987. Десять дней, которые потрясли мир. — Рид Д. *Избранное. Кн. 1*. — М.
- Рикёр П. 2002. Виновность, этика и религия. — *Конфликт интерпретаций*. — М.
- Розеншильд фон Паулин А.Н. 2014. *Дневник: Воспоминания о кампании 1914–1915 годов*. — М.
- Романов А.В. 2008. *Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова (1914–1917)*. — М.
- Россия в годы Первой мировой войны: Экономическое положение, социальные процессы, политический кризис. 2014. Отв. ред. Ю.А. Петров*. — М.
- Русское слово*. 1916. 17 декабря.
- Сабанеев Л.Л. 2003. *Воспоминания о Скрябине*. — М.
- Семина Х.Д. 1963. *Трагедия русской армии Первой Великой Войны 1914–1918 гг. Записки сестры милосердия Кавказского фронта. Кн. 2. Поход на Мосул*. — Нью Мексико.
- Сливинская М.А. 2013. *Мои воспоминания. «Претерпевший до конца спасён будет»: женские исповедальные тексты о революции и гражданской войне в России*. — СПб.
- Смирнов И. 2016. К критике гуманитарных наук. — *Русская интеллектуальная революция 1910–1930-х годов*. М.
- Снесарев А.Е. 2012. *Письма с фронта: 1914–1917*. — М.
- Степун Ф.А. 1994. *Бывшее и несбывшееся*. — СПб.
- Тахчогло Д.С. 2015. «Мы примкнули к революции, совершенно не понимая, что это за птица»: воспоминания Д.С. Тахчогло. — *Россия 1917 года в эго-документах. Воспоминания*. — М.
- Тверская губерния в годы Первой мировой войны. 1914–1918 гг. 2009. Сб. док-в. Научн. ред. В.П. Булдаков*. — Тверь.
- Толстой И.И. 1997. *Дневник. 1906–1916*. — СПб.
- Троцкий Л.Д. 1991. *Моя жизнь. Опыт автобиографии*. — М.
- Тыркова А.В. 2012. *Наследие Ариадны Владимировны Тырковой: Дневники. Письма*. — М.
- Цвейг С. 2004. *Вчерашний мир. Воспоминания европейца*. — М.
- Церковный вестник*. 1914. — № 35. 28 августа. Стб. 1040.
- Фуко М. 1971. Ницше, генеалогия и история. — *Философия эпохи постмодерна*. — Минск.
- Фурманов Д.А. 2015. *Дневник: 1914–1916*. — М.
- Хабермас Ю. 2008. *Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций*. — М.
- Шелер М. 1999. *Ресентимент в структуре моралей*. — СПб.
- Шелер М. 1994. Человек и история. — Шелер М. *Избранные произведения*. — М.
- Шелер М. 2007. *Философские фрагменты из рукописного наследия*. — М.
- Шубин А.В. 2014. *Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года*. — М.
- Эткинд А. 2016. *Внутренняя колонизация. Имперский опыт России*. — М.
- Яковлев Н.Н. 1974. *1 августа 1914 года*. — М.
- The Affective Turn: Theorizing the Social*. 2007. Ed. by Clough P. T., Hally J. Durham.

- Agnew V. 2007. History's Affective Turn: Historical Reenactment and Its Work in the Present. — *Rethinking History*. — Vol. 11. — № 3.
- Ahmed S. 2004. *The Cultural Politics of Emotions*. — NY.
- Althusser L. 1966. *Lire Le Capital II*. — Paris.
- Billington J. 1997. The West's Stake on Russia's Future. — *Orbis*. — Vol. 41. № 4.
- Buldakov V.P. 1. 2000. Soldiers and Changes in the Psychology of the Peasantry and Legal and Political Consciousness in Russia, 1914–23. — *The Soviet and Post-Soviet Review*. — Vol. 27. — № 2–3.
- Buldakov V.P. 2. 2000. The Imperial Mentality and Psychology in the USSR and its Consequences. — *Ethnic and National Issues in Russian and East European History*. Ed. by J. Morison. — MacMillan Press. Basingstoke.
- Buldakov V.P. 2010. Freedom, Shortages, Violence: The Origins of the “Revolutionary” Anti-Jewish Pogrom in Russia, 1917–1918. — *Anti-Jewish Violence: Rethinking the Pogrom in East European History*. Ed. by J. Dekel-chen, D. Gaunt, N. Meir. — Indiana University Press.
- Cubitt G. 2003. *The Jesuit Myth: Conspiracy, Theory and Politics in Nineteenth Century France*. — Oxford.
- Halfin I. 2003. Between Instinct and Mind: The Bolshevik View of the Proletarian Self. — *Slavic Review*. — Vol. 62. — № 1.
- Halfin I. 2000. *From Darkness to Light: Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia*. — Pittsburgh.
- Hellbeck J. 2006. *Revolution on my Mind: Writing a Diary under Stalin*. — Cambridge (MA).
- Lohr E. 2003. *Nationalizing the Russian Empire. The Campaign against Enemy Aliens during World War I*. — Cambridge (MA), L.
- Krylova A. 2003. Beyond the Spontaneity-Consciousness Paradigm: “Class Instinct” as a Promising Category of Historical Analysis. — *Slavic Review*. — Vol. 62. — № 1.
- Miller M.A. 2007. The Concept of Revolutionary Insanity in Russian History. — *Madness and the Mad in Russian Culture*. Ed. by A. Brintlinger and I. Vinitzky. — Toronto, Buffalo, London.
- The New Cultural History*. 1989. Ed. L. Hunt. — Berkeley and Los Angeles.
- Stearns P.N, Stearns C.Z. 1985. Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards. — *American Historical Review*. — Vol. 90. — № 4.
- Scheler M. 1915. *Der Genius des Krieges und deutsche Krieg*. — Leipzig.
- Steinberg M. 2007. “A Path of Thorns”: The Spiritual Wounds and Wandering of Worker-Poets. — *Sacred Stories: Religion and Spirituality in Modern Russia*. Ed. by M. Steinberg and H. Coleman. — Bloomington.
- Steinberg M. 2002. *Proletarian Imagination: Self, Modernity and the Sacred in Russia, 1910–1925*. — Ithaca, NY, Cornell University Press.
- Steinberg M. 1994. Workers on the Cross: Religious Imagination in the Writings of Russian Workers, 1910–1924. — *Russian Review*. — Vol. 53. — № 2.
- Steinberg M., Sobol V. 2011. Introduction. — *Interpreting Emotions in Russia and Eastern Europe*. Ed. by M.D. Steinberg and V. Sobol. — DeKalb.
- Suny R.G. 1994. Revision and Retreat in Historiography of 1917: Social History and its Critics. — *Russian Review*. — Vol. 53. — № 2.
- Suny R.G. 2011. Thinking about Feelings. Affective Dispositions and Emotional Ties in Imperial Russia and the Ottoman Empire. — *Interpreting Emotions in Russia and Eastern Europe*. Ed. by M.D. Steinberg and V. Sobol. — DeKalb.
- Ready W. 2002. *The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions*. — Cambridge (UK).

Rosenwein B.H. 2007. Warring about Emotions in History. — *American historical review*. — Vol. 107. — № 3.

Verhey J. 2006. *The Spirit of 1914. Militarism, Myth and Mobilization in Germany*. — Cambridge.

Zelnik R. 2003. A Paradigm Lost? Response to Anna Krylova. — *Slavic Review*. — Vol. 62. — № 1.